



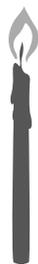
Авторы признательны Дмитрию Быкову за расшифровку и подготовку к печати стихов из чёрной тетради.

От авторов. Повествование основано на реальных фактах. Авторы сочли необходимым изменить некоторые имена и несколько сместить место и время отдельных событий.



АНДРЕЙ ЛАЗАРЧУК, МИХАИЛ УСПЕНСКИЙ

ПОСМОТРИ В ГЛАЗА ЧУДОВИЩ



ПЯТЫЙ РИМ

МОСКВА

2016

УДК 82-312.9
ББК 84-445
Л 17

Оформление переплета М. Левыкина.

Автор иллюстраций М. Пономарева.

В оформлении форзацев использованы рисунки и автографы Н. Гумилёва.

Лазарчук А. Г., Успенский М. Г.
Л 17 Посмотри в глаза чудовищ. — М.: Издательство «Пятый Рим» (ООО «Бестселлер»), 2016. — С. 656, илл. + приложение

ISBN 978-5-9908265-0-2

Этот роман проводил XX век и встретил XXI. Здесь Николай Гумилев вернулся в жизнь чтобы за нее сразиться. Роман был начат на исходе тяжких девяностых, когда и самим авторам не было до конца ясно, что же случилось с Россией и всеми нами. И они позвали на помощь магию русского слова, дерзкой писательской выдумки, уникального юмора. Гумилев, Лавкрафт, Маяковский, — все они приходят из своих миров к нам, но и они могут ожить только в пространстве этой странной, буйной, весёлой и мудро печальной книги. Её можно полюбить навсегда или навсегда отодвинуть, но ни у кого не получалось это раньше, чем она была дочитана. Потому что у неё есть два безошибочных признака настоящей литературы: первый — её хочется перечитывать. А второй — после неё нельзя остаться прежним.

УДК 82-312.9
ББК 84-445

ISBN 978-5-9908265-0-2

© Лазарчук А. Г., Успенский М. Г., 2016
© Издательство «Пятый Рим»™, 2016
© ООО «Бестселлер», 2016

Волшебная скрипка

Валерию Брюсову

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое тёмный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервётся пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймёшь тогда, как злобно насмеялось всё, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг,
И тоскливый смертный холод обовьёт, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеёшься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Н. Гумилёв

Фея. Ничего не поделаешь, я должна сказать вам правду:
все, кто пойдёт с детьми, умрут в конце путешествия...
Кошка. А кто не пойдёт?
Фея. Те умрут на несколько минут позже...

Морис Метерлинк

— Револьвер да зубная щётка — вот и всё, что нам понадобится.

Артур Конан Дойль

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В этом нет ничего нового, ибо вообще ничего нового нет.

Николай Рерих

Конец света, назначенный, как известно, знаменитым конотопским прорицателем безумным арабом Аль-Хазредом на седьмое января, не состоялся.

...А может, и состоялся, подумал Николай Степанович, глядя на заснеженную и промороженную до неподвижности тайгу. Что, если по всей земле стоят сейчас такие же холода, стены утонувшего в зарослях краснокаменного храма в верховьях реки Луалабы покрыты мерцающим инеем, ставшие стеклянными лианы крошатся со звоном под тяжестью снега и осыпаются на гранитной твёрдости торфяники, необозримые бегемоты стада превратились в россыпи заиндевевших валунов, и башня Беньовского на Мадагаскаре неразличима на фоне внезапно побелевших гор...

— Вот так, значит, прямо и пойдёшь? — вкрадчиво поинтересовался один из пилотов-вертолётчиков, пожилой, мордастый, наглый, важивавший в своё время по охотничьим заимкам прежнего беспредельного владыку беспредельного края. Владыка любил, отохотившись и разогнав прочую челядь, выпить с пилотом и пожаловаться ему на раннюю импотенцию...

— Так и пойду.

Любому городскому простофиле, не то что этим летучим волкам, ясно было бы: не таёжник стоит перед ними, а некто беглый, которого если и будет кто искать, так не те, кого он хотел бы увидеть тут, вдали от цивилизации... Сапоги на Николае Степановиче хоть и зимние, но испанские, анорак хоть и меховой, но шведский, лыжи хоть и австрийские, но беговые, узкие, так что он и сейчас стоял в снегу по колено. Один только швейцарский армейский рюкзак заслуживал уважения, но что рюкзак?..

— Всё равно ведь закоченеешь.

— А это уже только моё дело.

— Так ты лучше нам денежки-то все оставь. Целее будут, — и в голосе воздушного волка прозвучала нотка нежности.

— Неужели тысячи долларов Северо-Американских Соединённых Штатов вам мало? — искренне удивился Николай Степанович.

— Это когда же их переименовали? — в свою очередь удивился другой пилот и даже опустил ствол карабина.

— Ты мне кончай Муму пороть, — сказал первый. — Щас вот положим тебя и полетим. А так — не положим. Понял? Ну?

— Итак, вы мне предоставляете полную свободу выбора, — кивнул Николай Степанович. — Хорошо. Пятачок я вам накину. На бедность.

— Ты эта... — шагнул к нему первый, вздымая снег, — и вдруг замер.

— Отойди, Васильич, я его лучше из винта грохну, — внезапно севшим голосом сказал второй. Карабин в его руках заплясал.

— Вас ист «грохну»? — спросил Николай Степанович.

— Ист бин шиссен, — неправильно, но доходчиво объяснил второй.

— Как интересно, — сказал Николай Степанович, приглашающе улыбнувшись. И второй улыбнулся льстиво и беззащитно.

А неплохой карабин, подумал Николай Степанович. Грех его *таким* оставлять... Он чуть выше поднял ладонь. На ней, точно прилипший, лежал медный советский пятак. Образца тысяча девятьсот шестьдесят первого года, но незаметно для стороннего глаза исправленный и дополненный. Оба пилота воззрились на пятак как на внезапную поллитру с похмелья и больше от него глаз не отрывали.

— Карабинчик попрошу, — бросил небрежно Николай Степанович, стряхивая с ног лыжи и поднимаясь в тесную кабину «Ми-2».

— Извольте, ваше благородие, — подобострастно вымолвил второй. — Патрончики по счёту принимать будете али как?

Второй преобразился. Вместо нормального аэрохама возник денщик по пятому, как бы не боле, годку службы у полкового барбоса-интенданта. Первый сохранял прежний вид, но вести себя по-своему тоже уже не мог.

— В свете принятых решений, — сказал он неопределённо — и вдруг заткнулся, как бы подавившись привычными словами.

Николай Степанович подышал на пятак, приложил к лобовому стеклу кабины — пятак прилип.

— Летите, голуби, — сказал Николай Степанович, спрыгнув в снег. Пилоты, отталкивая друг друга, полезли в кабину.

Через минуту похожая на черноморского бычка машина, подняв тучу морозного снега, скрылась за вершинами елей. Николай Степанович вздохнул. Не то чтобы ему было жалко пилотов... Машину — жалко, это да. Впрочем, вполне может быть, что и долетят, подумал он, но о пассажирах своём забудут навсегда.

Он откопал заметённые лыжи, попрыгал, примеряясь к рюкзаку, поводил открытой ладонью перед собой, определяя направление, — и тяжело пошёл, загребая рыхлый кристаллический морозный снег. Остывающее солнце начинало бессильно клониться к синим щетинистым сопкам.

До зимовейки было с полкилометра, но сквозь густой заснеженный ельник он пробивался около часа. Хуже приходилось разве что тогда, в северном Конго, да и то — из-за вони.

Воняло одинаково: что от болот, что от людей, что от негров...

Откопав дверь, он на четвереньках забрался в тесное стылое нутро зимовейки. Топить крошечную соляровую печурку и греться было некогда, да и без печки ему было по-настоящему жарко. Он лишь переменял щегольские сапоги на слежавшиеся собачьи унты и выволок из-под топчана широкие лыжи, подбитые камусом. Потом подумал и, свернув, приторочил сверху к рюкзаку выдавший многие виды рыжий романовский полушубок. Завтра кто-нибудь из внуков или правнуков Парамона Прокопьяча отнесёт всё обратно...

Николай Степанович живо представил, как обрадуется Прокопьяч городским дозволенным верою гостинцам: грецким орехам, свежим дрожжам, кусковому колотому сахару, цукатам, патронам, капсулям, пороху «Сокол», картечи, а особенно новенькому, буквально с неба снятому, карабину «Рысь». Лыжи шли легко, да и вела к Предтеченке узкая, чужому взгляду незаметная, просека, где все пеньки были давно повыкорчеваны.

Через час размашистой ходьбы он почувствовал запах дыма — однако не тот живой, желанный, хлебный, а уже холодный, с примесью большой беды. Но к тому, что он увидел, приготовиться было невозможно...

Не было на свете больше никакой красивой и тихой старообрядческой деревеньки Предтеченки с двенадцати дворах с обширными огородами, многочисленными надворными постройками, банями, садиками и палисадниками, общественным лабазом — и молельным домом, срубленным из железной красноватой лиственницы. Вместо

всего этого лежало грязное пятно копоти, из которого неистребимо, как в войну, торчали печные трубы; местами багровели тронутые пеплом угля, да тянулись в белое небо неподвижные синеватые столбы дыма и пара.

Вот он и кончился, едва лишь начавшись, его ледяной крестовый поход...

— Ладно, — сказал он и стал спускаться к пепелищу.

Он чувствовал, знал — потому что видел однажды подобное, — что впереди нет ни единого живого существа. И что здесь побывала не городская банда охотничков, которым надоело униженно выклянчивать по одной собольей шкурке и медвежью жёлчь по пенициллиновому пузырьку, и они решили взять всё разом, — и не чекисты (или как они там нынче называются?), пронюхавшие-разведавшие, наконец, про существование неведомой и невидимой миру со времён Петра-Анчихриста таинной деревеньки; нет, это был след другой силы... потому что ни бандиты, ни чекисты при всей своей глубинной людоедской сущности не оставляют на жертвах следов громадных зубов и когтей, не откусывают детям головы, не выедают у коров и лошадей кишки и не размётывают, как взбесившийся слон, избы по брёвнышку...

Уже на исходе дня, вымотанный до смерти, перепачканный сажей и кровью, Николай Степанович забрался в единственную уцелевшую баньку на подворье братьев Филимоновых; банька эта стояла чуть в стороне, у чистого ручья, и потому уцелела, незамеченная. Николай Степанович присел у каменки, достал нож, поднял с пола холодное полено и стал не спеша щепать лучину. Он знал, что до весны ему отсюда не выбраться, что без ключаря ключ в развалинах (даже если он там и остался) найти невозможно и что тот посторонний, который сюда придёт, — придёт с ясной и конкретной целью...

Карабин здесь не помощник.

Были у народа карабины, были и ружья...

Только сейчас он почувствовал холод. А ночью будет под пятьдесят. Или даже за пятьдесят.

Всё, что здесь осталось от людей, я похороню весной, подумал он. А потом вернусь в город и похороню своих. Если выживу.

А я, к сожалению, выживу...

Завтра пепел остынет, и придут волки. Вон, уже слышно вдали... Хорошо, что успел снести людей в лабаз.

Не знаю старOVERских молитв... да не обидятся, наверное, если от чистого сердца... Ведь не кормил же меня Прокопъич из отдельной посуды, как по их уставу древлеотческому положено.

Было так тихо, что еле слышное поскуливание за плотно притворённой дверью прозвучало для Николая Степановича архангельской трубой. А потом дверь приоткрылась, и в последнем сумеречном свете этого бесконечного дня возникло нечто белое.

— Ну, входи, — сказал Николай Степанович и с нервической усмешкой добавил: — Да побыстрей: холоду напустишь.

В ответ раздался совершенно невозможный звук: звонко подпрыгнули и упали в коробке спички.

Он молча протянул руку и взял коробок из пасти собаки.

— Греться, говоришь, будем? — спросил он.

Собака замахала хвостом, как сигнальщик флагом.

Каменка накалилась скоро, и даже вода забурлила в котле — её там было немного, на самом дне.

— Чайком бы тебя напоил, да налить не во что. В ковшик разве? Будешь кипяточек?

Собака помотала большой головой. Она пристроилась к боку каменки и уже, похоже, отогрелась.

— А я попью, — сказал Николай Степанович. — Не водку же пить... хотя можно было бы теперь и водку... никого не обидишь.

Он вынул из рюкзака большую алюминиевую кружку, оплетённую берёстой, — память об одном философе с Соловков, — бросил в неё пять пакетиков чая «Липтон», здоровенный кусок сахару, залил кипятком — и спустя несколько минут опустил в чёрный настой аэрофлотовскую упаковку сливочного масла. Получилось почти по-тибетски.

— Ну, вот, — сказал он и вытер пот со лба. — А теперь рассказывай, что тут было.

Собака жалобно посмотрела на него. Палево-белая, в чёрных «очках» вокруг глаз, она походила скорее на панду или лемура, чем на здешних забывших родство лаек. Откуда такая взялась?..

— Извини, брат кобель, не разглядел. Сейчас свечку затеplим, лучше будет...

Тем временем брат кобель выполз на середину предбанника — и... Николай Степанович никогда не видел такого. Пёс привстал, медленно огляделся и уставился на что-то невидимое, но приближающееся. Потом он попятился, коротко рывкнул — и вдруг, как от удара, опрокинулся

на спину и откатился к самой стене. Из-под стены он пополз, не по-собачьи извиваясь всем телом и выпрямив хвост поленом. Потом, как мог широко, раскрыл пасть и зарычал низко, утробно. Потом было что-то вроде ловли злой кошкой воображаемых мышей. Поймав добычу, пёс становился на задние лапы, а передние тащил к пасти. И наконец, словно насытившись сполна и наигравшись, снова по-змеиному уполз к стене. Там он и остался, замерев.

— Понятно, — Николай Степанович заварил вторую кружку. — Значит, зверь, вышедший из моря. В смысле, из реки. И пожре праведных... Имя своё ты мне, брат, сказать не сможешь? Или как-нибудь попробуешь?

Пёс вернулся к каменке и покачал головой.

— Нельзя, понимаю. Но звать-то тебя как-то нужно?

Вместо ответа удивительный пёс метнулся к двери, проскользнул в щель и аккуратным толчком задних лап плотно затворил баню. Николай Степанович вдруг нелогично подумал, что ещё не всё потеряно, потому что таких собак на самом деле не бывает. И — неожиданно спокойно задремал, привалившись к стене и даже не подвинув к себе поближе карабин.

Но ему приснились Аня и Стёпка, и он проснулся со стоном.

Пёс сидел на прежнем месте, будто и не уходил никуда. Перед ним на полу лежал тускло поблёскивающий осьмиконечный крест.

— А вот этого точно быть не может, — сказал Николай Степанович вслух. О том, где ключ схоронен, знал только сам Прокопъич да старший внук его, Егор. Обоих он видел сегодня — смог узнать — там, в моельном доме...

Пёс твякнул: может.

— А раз может, — сказал Николай Степанович, — то тогда давай-ка займёмся, брат, делом. Кто знает, что нам завтра предстоит...

Он натаскал из поленницы дров, забил котёл снегом, слезил наверх за веником (много наготовили братья Филимоновы веников, до Троицы хватило бы...), с остервенением вымылся чисто и горячо, а потом надел свежее — из гостинцев — бельё, как когда-то перед наступлением. Влез в согретый полушубок, сел с ногами на лавку и, чтобы успокоиться и занять руки, стал крест-накрест надрезать пули...

Пёс дремал.

Ночью ничего не произошло.

В восемь утра репетер его серебряного «Лонжина» звякнул. В свои лучшие золотые тридцатые годы «Лонжин» играл начало увертюры из «Вильгельма Телля», но со временем кулачок сносился, а нынешние часовых дел мастера умели лишь менять батарейки в гонконгской штамповке.

— Доброе утро, — сказал Николай Степанович потянувшемуся псу. Перекусили, выпили чаю. Тьма снаружи медленно рассеивалась.

— Пора.

Воздух от стужи стал студенистым, не вполне прозрачным. Слипались ресницы. Брови, опущенные уши песцовой ушанки, натянутый на подбородок вязаный шарф мгновенно поросли куржаком. Лыжи долго не хотели скользить...

К реке можно было пройти по околице, но Николай Степанович намеренно сделал крюк. Встав перед молельным домом, в котором люди искали спасения от зверя крестом и молитвой, он обнажил голову, опустился на колени и перекрестился.

— Простите, православные, — тихо сказал он. — Не могу вас похоронить, а вот рассчитаться за вас — рассчитаюсь...

Никто не ответил. За ночь снег засыпал черноту, и следы, и всё, что здесь жило и сгорело...

До острова было метров сто — если лететь на крыльях. Лёд за островом был чёрный, выглаженный ветром, цветом подстать исполинской скале-быку на том берегу, а здесь, под высоким берегом — белый, заснеженный. И ровно под взвозом громоздились безобразные торосы, и яснее ясного было, откуда они такие взялись.

— Прямой нам дороги нет, — сказал Николай Степанович. — А с флангов обрывы. Такая диспозиция. И артиллерия в тылу застряла, по обыкновению. Что, господин гусар, делать будем?

Пёс всмотрелся в лёд, в остров, глухо твякнул.

— На остров-то ему, думаю, хода не будет, — объяснил Николай Степанович. — Как твоё мнение? А вот на льду бы нам не задержаться...

Не ответив, пёс медленно, нюхая воздух и прислушиваясь, начал спускаться.

— Осторожней, гусар! — шепнул Николай Степанович вслед. Сам он повесил карабин на шею, распахнул полушубок и начал высвистывать ветер. Пар изо рта повисал перед лицом неподвижным облаком.

Получилось не сразу. Сначала ветер потянул в лицо, разорвал туман, обжёг щёки. Потом зашумело поверху. Иней посыпался с елей. И наконец, застонало, завыло, загудело сзади — по-настоящему. Когда-то любой чухонец мог такое...

Подхваченный вихрем, Николай Степанович слетел по взвозу на самый берег, обежал, пригибаясь, торосы справа — и подставил падающему с обрыва ветру распахнутые полы полушубка. Слева, звонко лая

и подпрыгивая, танцевал на льду пёс. Взвизгнул под лыжами высохший от стужи снег.

— Не стой на месте, Гусар! Хорошо идём!

Лёд задрожал. Пёс метнулся вперёд, потом вбок. Николая Степановича несло ветром. Всё, что не было прикрыто унтами и полушубком, мгновенно заоченело. Позади раздался громкий треск, но оглядываться дураков не было. Пёс заходился лаем. Трещины, как от попавшей в стекло пули, разбежались там, где он был секунду назад. Половину прошли, подумал Николай Степанович. До острова было ещё немыслимо далеко. За спиной с шумом перевернулась льдина — и раскололась. Пёс нёсся теперь быстрее гепарда, а за ним лёд выгибался горбом и ломался, ломался...

Они с Гусаром выскочили на берег одновременно, взглянули друг на друга и на всякий случай отбежали подальше от протоки. Потом посмотрели назад и повалились на снег...

Вход в рум, понятно, замело, но камень-замок оставался на виду — так уж он был устроен. Весь этот внешне обычный остров был устроен особо, но понять особость не то что простому человеку, но и непростому — было невозможно. Равно как и особость румов. Равно как и...

Николай Степанович негнушимися пальцами извлёк из-за пазухи крест. Мало кто из нынешних мог увидеть и понять, что нижняя косяя перекладина креста наклонена не по канону. Парамон Прокопич никогда не брал ключ голой рукой, всегда через чистую тряпицу, которую потом непременно бросал в пылающую печь.

Крест утонул в гнезде, высеченном на камне. Потекла долгая минута ожидания. Гусар нервно переминался с лапы на лапу, но не уходил — хотя и знал наверняка, что коли дверь не признает его за своего, то быть ему тёплым белёсым пеплом... Николай Степанович решил не рисковать и подхватил пса на руки. Пёс был тяжёлый, как годовалый бычок.

— Однако, не голодал ты, брат...

Дверь просела. Снег посыпался на ступени. Заклубился, вырываясь наружу, пар.

Вот теперь можно и лыжи снять, с нервным смешком подумал Николай Степанович, вспомнив старый, времён финской войны, анекдот.

Похоже было на то, что в руме недавно жили. Хотя... Румы — это такое место, где время как бы и не идёт. По крайней мере, видимых изменений не происходит. И неизвестный постоялец мог жить здесь и двадцать, и тридцать лет назад. Когда же я сам-то был тут последний раз?..

В пятьдесят шестом? Да, пожалуй, в пятьдесят шестом...

Ах, да. В восемьдесят втором ещё. Как мог такое забыть?..

Потом, навеваясь регулярно в Предтеченку, он не испытывал ни малейшего желания спускаться в тайные подземелья. Подвалов башни Беньовского ему хватило навсегда — не говоря о погребальной камере Аттилы... Но сейчас другого разумного выхода не оставалось. Уют в руме, конечно, чисто спартанский, простору примерно как в подводной лодке «Пантера», но самый завзятый клаустрофоб не почувствовал бы себя здесь заживо погребённым — таким уж умением обладали неведомые древние строители. Просто Николая Степановича с давних пор (и не без оснований) тревожили вентиляционные решётки...

Первым делом, даже не скинув полушубок, он достал из рундука аптечку. Открыл цифровой замок. Потом в нетерпении вывернул ящик на крышку стола...

Здесь было всё, кроме того, главного. За чем он шёл.

На всякий случай он перебрал все пузырьки и ампулы, читая сигнатуры. Потом ещё раз. Потом ещё.

Ясно. Тот, кто побывал здесь до него, приходил за этим же. Но он не имел никакого права трогать неприкосновенный запас... оставил бы хоть несколько гранул!.. Николай Степанович в отчаянии замахнулся кулаком на стеклянное бесполезное воинство... и опустил руку.

Гусар ткнулся головой в колени, буркнул что-то неразборчивое. Николай Степанович бессильно отошёл от стола и провалился в кресло.

— Всё бесполезно, брат Гусар, — сказал он негромко. — Одна отрада — что я тоже теперь рано или поздно умру.

2

Когда рассеется дым, увидишь внизу детей и животных.

Василий Аксёнов

Всё началось совершенно невинно дней десять назад — как раз накануне Нового года.

— Коля, — Аннушка как-то непривычно смущённо посмотрела на мужа, — я должна сказать тебе одну вещь...

— У нас будет любовник? — поднял бровь Николай Степанович.

— Нет, но что-то вроде... В общем, я пригласила Лидочку.

— На Новый год?

— На Новый... — жена виновато развела руками. — Ну, пойми: я возвращаюсь в учительскую, пакет забыла, а она сидит и ревет. Понимаешь? Я и...

— Сострадание разносит заразу страдания, — сказал Николай Степанович.

— Это ты заразу разносишь, — обиделась Аннушка. — Всем настроение портишь. А если бы Стёпку так же вот...

— Ну и что? Представь себе, через двадцать лет приезжает молодой американский миллиардер и звезда Голливуда, в котором счастливая мать без труда узнаёт...

— Ай, да ну тебя!

Впрочем, новогодний вечер всерьёз испорчен не был. Стёпке отдали в полное безраздельное (благо никто и не претендовал) распоряжение новенькую «Сегу», чтобы не лез ко взрослым. Лидочка, дама крупноватая, обесцвеченная, легко краснеющая от лёгкого вина, держалась тихо и робко. Зато пришёл сам Гаврилов с банджо и новой пассией, рыжей и восторженной. Пассия чем-то неуловимо смахивала на Олю Арбенину, какой она была на том памятном вечере в Тенишевском училище, и Николаю Степановичу поначалу было нелегко придать своему взгляду обычную рассеянность.

Стол накрыли в зале, который Николай Степанович именовал «африканской комнатой». На стенах развешаны были жуткие ритуальные маски, курительные трубки и специальные магические приспособления колдунов оно-оно, потускневшие чеканные украшения бедуинских красавиц, передняя лапа чудовищного крокодила (настоящий, без дураков, трофей Николая Степановича; хотелось бы, конечно, отхватить у ящера чего-нибудь ещё, побольше, но дорога предстояла дальняя, а тащить — на себе), головы антилоп, масайские ассегай и щит; в серванте стояли пёстрые гадательные барабаны, медный светильник и какая-то странной формы и самого зловещего вида дрянь — по горячему уверению хозяина, засушенная голова жестокого белого плантатора (сам-то он знал, что такие головы на амхарских рынках продают дюжинами на медный пятак, благо чего другого, а тыквочек в Африке пока ещё хватает); сенегальский ковёр, помнивший копыта верблюдов Абд-эль-Азиза, устилал пол; с террариума Николай Степанович снял расшитое покрывало

только после долгих и настойчивых просьб гостей — и сразу набросил его обратно: в конце концов, люди пришли поесть...

— Вот это... оно... там такое и живёт? — с ужасом спросил Гаврилов.

— Живёт, — подтвердил хозяин.

— А как называется?

— Не знает никто. Негры говорят: «хамамба-ас-хамамба». Что в переводе на простой язык означает «самоглот». Это я так перевёл. Он же «проглот конголезский».

— А специалисты что говорят? — не унимался Гаврилов.

— А они в него не верят...

Аппетита обитатель террариума никому не испортил, только рыжая смотрела теперь на Николая Степановича восторженно. Уязвлённый Гаврилов начал петь, и пел хорошо. Но всё равно прошло некоторое время, и разговор вернулся к Африке.

— А как вас выпускали, Николай Степанович? — спросила прозаическая Лидочка. — Тогда же никого не выпускали, а вы так и вообще беспартийный.

— Ну, беспартийный — это ещё не безногий, — сказал хозяин. — По линии Академии наук я ездил...

— И для разведки кой-чего добывал? — подколот Гаврилов.

— Русскую военную разведку я уважал всю жизнь, — Николай Степанович пожал плечами. — Так что не вижу оснований... Это вам не чека.

— Да что можно разведывать в Африке? — хмыкнул Гаврилов. — Боевым слонам хоботы да бивни считать?

— Помилуйте, милостивый государь, а Лумумбу-то из-за чего, по-вашему, пришлось устранить? — и Николай Степанович обвёл глазами слушателей и принялся рассказывать совершенно потрясающую историю, в которой похождения неимоверного гэрэушника майора Коломийца и дочери местного вождя чернокожей красавицы Ахули нечувствительно переплетались с сюжетом романа Майн Рида «Охотники на жирафов». А потом, вдохновлённый собственным рассказом, он перешёл к описанию древнего храма Омумбуромбонго, священного дерева, из которого вышли когда-то все животные, птицы, рыбы, люди, пауки и боги. Храму этому, по самым скромным оценкам, было не меньше тридцати тысяч лет, поэтому серьёзные учёные им не занимались — да и не добраться до него серьёзным учёным, привыкшим к лёгкой жизни, к проводникам и носильщикам...

— А кто такой Лумумба? — спросила рыжая где-то в середине рассказа, в ответ на что Гаврилов тут же изобразил песню своего детства: «Убили, гады, Патриса Лумумбу, а Чомба в кабаках танцует румбу!..» Тут же пришлось объяснять, кто такой Чомба. Потом Аннушка показала всем, что такое настоящая румба. Аполитичная пошла молодежь, сказал Гаврилов, подтягивая струны. Как блестяще мы разбирались в политическом положении в Бельгийском Конго, в скобках — Леопольдвиль! Сколько митингов провели в защиту, а Лумумбу, зараза, так и не уберегли. Это потому что ты своих шаманов ещё к рукам не прибрал, сказал Николай Степанович. Вот в сорок втором... — и он рассказал удивительную историю о том, как в сорок втором, на скорую руку присоединив к СССР Туву, согнали шаманов в один большой лагерь и заставили камлать хором, результатом чего и явился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Шаманов потом, ясное дело, не по-хозяйски вывели в расход. А моих, северных, ещё в тридцать шестом кончили, вздохнул Гаврилов. Да что вы всё об этом! — упрекнула Аннушка. Надоели ваши расстрелы, лагеря... Не всем надоели, возразил Гаврилов. В тех старых лагерях только лампочки вкрутить...

Стало как-то неудобно, и пришлось выпить.

— А правда, что вы гадать по-настоящему умеете? — тихо спросила Лидочка.

— Правда, — так же тихо ответил Николай Степанович.

— А вы не могли бы?..

— Не сегодня, — отрезал он. — Выпивши — нельзя.

— Так я приду?

— Завтра, — разрешил он. — Второго. К вечеру.

Тут вышел Стёпка, заявил, что уже утро, он проснулся и намерен поселиться. И все стали веселиться.

Лидочка пришла второго после обеда.

— Ты сама это затеяла, — тихо сказал Николай Степанович Аннушке и велел им со Стёпкой на время удалиться — скажем, сходить на городскую ёлку, где умельцы выстроили необыкновенной красоты ледяной сказочный дворец. Сам же он переоделся во всё чёрное, повязал голову платком и взял в руки гадательные барабанчики. Барабанчики, на самом-то деле, были самые обыкновенные, хоть и обтянутые челове-

ческой кожей. Ему просто нужно было чем-то занять руки, потому что руки в этом деле мешают больше всего.

— Фотокарточку принесли?

Лидочка дрожащими пальцами протянула цветной кодаковский снимок пятилетней примерно девочки с голубым бантом и в голубых трусиках. Девочка стояла на куче песка. Позади была какая-то вода и лес.

— Теперь сидите тихо...

Минут через десять всяческих вводных процедур Николай Степанович *ушёл*. Глаза его прищурились, лицо обмякло. Пальцы выбивали из барабанчиков неторопливую мягкую дробь.

— Крым, — сказал он.

— Нет, на даче, — поправила Лидочка.

— Я говорю, что сейчас она в Крыму, — пробормотал Николай Степанович. — Ялта? Нет... Севастополь? Евпатория? Да, пожалуй... Точно, Евпатория. Пионерский лагерь... когда-то был лагерь. Проволока... ах, как я не люблю проволоку... Ей там неплохо... пока. Дети. Другие. Много. Несколько. Чего-то боятся. Двухэтажный дом. Решётки и тёмные шторы, никогда не бывает света. Туда забирают. Старуха-гречанка. С усами... похожа на мамашу Макса... Так, что-то ещё. Кочегарка? Откуда взялась...

— Какого Макса?

— Волошина... Да не перебивайте же, трудно... Уф-ф!.. — Николай Степанович отбросил барабанчики, они покатались, побрякивая, как игральные кости. — В общем, всё ясно. Она жива, пока здорова, живёт в Крыму, в бывшем пионерлагере имени Олега Кошевого. Сейчас там цыгане, похоже, организовали производство профессиональных нищих. Калек. Понимаете? Нужно торопиться. Милиция у них, думаю, куплена, да и не так дорого стоит купить хохляцкую милицию...

У Лидочки от страха отнялся язык.

— У вас есть мужчина, друг, спутник? Отец, брат?

Она помотала головой.

— Так... А отец девочки?

Она только рукой махнула.

— Интересно живёте, господа... Значит, будем делать по-другому. Вы завтра же летите в Москву. Деньги — вздор, деньги будут, об этом не думайте... и с билетами по нынешней дороговизне осложнений возникнуть не должно. Я вам дам один московский адрес. Зовут этого человека Коминт. Иванович. Цыпко. В цирке его знают как Альберто Донателло. Передадите ему письмо, он всё устроит. На возраст его не обращайтесь

внимания — человек чрезвычайно надёжный. Но — слушайте его, как Господа Бога. Скажет: землю рыть — ройте, и как можно глубже. Ну да он и сам всё хорошо объяснит. Он хорошо объясняет. Доходчиво... Дело это как раз по нему. В общем, господам евпаторийским цыганам я не завидую, равно как и милиционерам, если они к этому делу прикручены. Да не плачьте, Лидочка, бывают в жизни вещи пострашнее. Всё будет хорошо.

Но получилось всё очень нехорошо. Почему-то — неожиданно и без особых поводов — заблажило ехать в аэропорт и Аннушке со Стёпкой. «Нива» долго не заводилась, дорога обледенела, встречные водители и даже гаишники были сплошь пьяные. Судьба как бы ненавязчиво намекала на нежелательность всей затеи...

В тамбуре аэровокзала сидела на куче тряпья и сама на кучу же тряпья похожая старая цыганка. Или таджичка (с понтом беженка, проворчал Стёпка). Увидев четверых, она вдруг вскочила молодо и поднесла к губам раскрытую ладонь. Аннушка в испуге отшатнулась.

— А вот этого не надо, — сказал Николай Степанович. — Погадать я тебе и сам погадаю.

— Сам ты искать меня после будешь, золотой, — без всякого акцента и без выражения сказала ведьма, садясь. — Ан — поздно будет искать...

— Какая противная бабка, — фыркнула Лидочка. — Не к добру такую встретить.

— Никогда сами не верьте в приметы, — сказал Николай Степанович. — Предоставьте это сведущим людям.

— Правильно их Гитлер гонял, — неожиданно сказал Стёпка. — Евреев зря, а цыган за дело.

— Слышу голос твоей классной дамы, — сказал Николай Степанович. — И если я его ещё раз услышу...

Самолёт улетел вовремя. Когда Тихоновы возвращались к машине, ведьмы в тамбуре уже не было.

Весь день Николай Степанович чувствовал во рту металлический привкус.

А вечером Аннушку и Стёпку увезла скорая помощь.

Доктор был молод, бородат и встревожен.

— Ничего нового я вам пока сообщить не могу, — сказал он. — Кровотечение продолжается и у мальчика, и у матери. Это похоже на ка-

кую-то тропическую болезнь, я о ней слышал. Утром будет профессор Скворушкин...

— До утра они ведь могут и не дожить, — то ли спросил, то ли предупредил Николай Степанович.

— Нет, что вы, — сказал доктор. — Мы делаем всё, что требуется, только вот...

— Только вот не помогает почему-то, — подхватил Николай Степанович. — Кровотечение продолжается.

— Да-да. Я думаю, что можно подключить...

— Слушайте меня внимательно, — сказал Николай Степанович. — У меня группа крови четвёртая резус-отрицательная. У сына тоже. Вы должны сделать прямое переливание. Ясно? Это поможет ему продержаться минимум неделю. Супруге перельёте плазму. Центрифуга, надеюсь, в вашем холерном бараке есть?

— Вы врач? — попытался поставить его на место доктор.

— Я не намерен вдаваться в объяснения, — высокомерно ответил Николай Степанович и поднял руку ладонью вперёд. — Итак...

Доктор мигнул.

— Да, конечно... — забормотал он. — Пойду распоряджусь, а вы пока...

— И никаких записей, — прилетело доктору в спину.

Суровая сестра с лицом чёрным и длинным облачила Николая Степановича в зелёный хирургический костюм, закутала ему голову марлей, проводила туда, где пахло йодом и пережжёнными простынями. Его заставили лечь на жёсткий холодный стол. В круглом отражателе над собой он видел маленького и страшного себя. Через минуту на каталке привезли бледного до синевы Стёпку. Из носа его торчали закровеневшие тампоны.

— Папочка... — прогундосил Стёпка и заплакал.

— Прекратите, кадет, — велел Николай Степанович. — Здесь вам не альманах «Сопли в сиропе».

— Доктор сказал, — наклонилась к нему сестра, — что забирать шестьсот миллилитров. Вы сдавали когда-нибудь кровь?

— Делайте, как он велел. Я сдавал, и помногу. После этого возьмёте ещё восемьсот на плазму.

— Что?!

— Именно так. Работайте, мадам.

Игла вошла в вену. По прозрачной трубке ринулся чёрный столбик крови.

Сто... двести... четыреста...

— Как вы себя чувствуете? — голос издалека.

— Как космонавт на орбите.

— Шутник у тебя папа.

— Он не шутник. Он учёный.

Шестьсот.

Какувозили Стёпку, Николай Степанович не видел. Это был какой-то моментальный провал. Потом он лежал, а над ним без всякой опоры висели бутылки с чем-то прозрачным.

— Как вы себя чувствуете?

— Как космонавт на орбите...

Кровь уходит в прозрачную подушечку. Одна... другая...

Всё? Да, похоже, всё.

— Сейчас, сейчас, миленький, потерпи ещё... — мягкое прикосновение к щеке. Не трать вату, Василиса... и мох не трать, раненых много, не хватит, сволочи ягды...

Гудение вдали. Костры, костры...

Жгите костры.

Что?

Нет, всё в порядке. Да, я слышу. Я всё слышу.

Приносят то, что осталось после центрифуги, — густую чёрную кашу.

Возвращение долга.

Не надо так напрягаться, расслабьтесь, лежите спокойно...

Всё. Он уже не в силах держаться на поверхности. Падение. Падение вниз, вниз — к самому началу, к началу...

Гулко. Шаги в коридоре. Свет.

Промедление смерти

— Гумилёв, *поэт*, на выход!

— Нет здесь поэта Гумилёва, — сказал я, вставая с нар и закрывая Библию. — Здесь есть поручик Гумилёв. Прощайте, господа. Помолитесь за меня, — и я протянул книгу редковолосому юноше в студенческой тужурке.

— Руки-то за спину прими, — негромко скомандовал конвойный, вологодской наружности мужичок, окопная вошь, не пожелавшая умереть в окопе. Он не брился так давно, что вполне мог считать себя бородастым.

В коридоре нас потеснили к стене двое чекистов, тащивших под локти человека с чёрным мешком на голове. Один из чекистов был женщиной. Впрочем, чему удивляться, если дочь адмирала Рейснера пошла по матросикам? И эта, должно быть, какая-то озверевшая инженеру из альманаха «Сопли в сиропе». Я проводил их взглядом. Было в этой новой русской тройке такое, что заставляло провожать её взглядом.

Очень дико выглядят женщины в коже и мужчины в галифе без сапог...

Я тоже был в галифе без сапог.

— Счастливый ты, барин, — сказал мне в спину конвойный.

— Отчего так?

— Уйму деньжищ за тебя отвалили... сказать — не поверишь...

— Что ты мелешь?

— Истинный Бог!

— А как же это ты, верующий, безбожникам служишь?

— Несть власти, аще не от Бога, — извернулся конвойный. Был он редкозуб и мягок, как аксолотль. — Не о том речь, барин. Что же ты за человек такой дорогой? Сам видел, государственного банка ящички... Ты вот что, ты меня-то запомни, я тебе худого не делал и не желал вовсе. Может, пригожусь...

— Ладно, служивый. Может, и пригодись.

Из-за угла вдруг возник чекист неожиданно пожилой, в костюм-тройке и толстых очках в железной оправе, с модной у них козлиной эспаньолкой, которая позже стала известна как ленинская борода. Он уставился на конвойного, и я почувствовал, что сейчас что-то произойдёт. Конвойный за моей спиной громко икнул.

— Ты! — завизжал чекист. — Тетерев злоёбаный! Мешок где, говно зелёное? Мешок где?!

— Да я... да вот... — и конвойный понёс какую-то чушь о вобле и сахарах. Несколько секунд чекист слушал его внимательно.

— Ты знаешь, что с тобой теперь товарищ Агранов сделает? — сказал он вдруг очень тихо, и конвойный упал. Чекист пнул его в бок, плюнул и, часто дыша, но уже явно успокаиваясь, пожаловался мне: — Вот такие и погубят революцию... Ладно, теперь уже не исправишь. Идёмте, Николай Степанович, вас ждут.

И мы пошли — в раскрытую дверь, к фыркающему автомобилю «Рено». Когда-то в нём ездили порядочные люди, а теперь...

Я увидел, кто в нём ездит теперь, и ахнул от изумления.

— В сущности, вы уже три дня как мертвы. По всему городу вывешены расстрельные списки. Вы идёте номером тридцатым. Гумилёв Николай Степанович, тридцати трёх лет, бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирной литературы», беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградской Боевой организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал в момент восстания связать с организацией группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности... Извините за стиль.

— А что это вы за них извиняетесь? — пожал я плечами.

— Потому что в какой-то степени несу за них ответственность. Впрочем, как и вы.

— Помилуйте! Я-то с красными флагами не ходил и сатрапов не обличал...

— А кто подарил портрет августейшего семейства какому-то африканскому колдуну?

Я вдруг почувствовал, что у меня поднимаются волосы.

— Не может быть...

— Ну, не только из-за этого. Но представьте себе, что в один прекрасный для Африки день этот ваш колдун, платонически влюблённый в крошку Анастасию, вздумал произвести над фото несколько пассов... Образования у него, конечно, никакого, но стихийная сила совершенно дикая. И этот... — Яков Вильгельмович сделал отводящий знак, — ну, как его? Его ещё свои же пролетарии на митинге кулаками забили...

— Уринсон, что ли?

— Не знаю никакого Уринсона. Свердлов, вот. Идем Гаухман. Он и распорядился, а Ульянов распоряжение подтвердил — и попробовал бы он не подтвердить...

— Яков Вильгельмович, — сказал я, — это же какой-то бред. Это для салона, для молодых болванов, каковым был ваш покорный слуга в те добрые времена...

— И для выживших из ума стариков, — ехидно подхватил Яков Вильгельмович. — Вы подумайте лучше, почему из-за вас ОГПУ две сотни христианских душ загубило? Целый заговор сочинили, ночей не спали... Ну, теперь-то у них дело широко пойдёт.

— Вы не поверите, — сказал я, — но я всё равно ничего не понимаю.

Яков Вильгельмович, сколько я его помню, был тихим ласковым старичком в таком возрасте, когда о годах уже и не спрашивают. Его можно было встретить решительно на всех поэтических вечерах и сборищах, сторожайше засекреченных масонских собраниях, на кораблях хлыстов и скопческих радениях, на советах розенкрейцеров, в буддистском дацане, на собраниях оккультистов самого дрянного пошиба, в келье Распутина и даже на афинских ночах рано созревших гимназистов. Всегда он был тих, вежлив — и, несмотря на высокий рост и прямую спину, как бы незаметен. И вдруг...

— Не понимаете? — взвизгнул Яков Вильгельмович на манер давешнего чекиста. — А кто ману написал про золотого дракона? Кто Слово произнёс?!

— Помилуйте! — снова сказал я. — Это же совершенно хрестоматийный образ...

— Значит, вы действительно ничего не понимаете, — Яков Вильгельмович встал и, подойдя к камину, снял с полки фарфоровую собачку: беленькую, с чёрными пятнами вокруг глаз. — Ты представляешь? — обратился он к ней. — Все твёрдо знают, что Николай Степанович достиг по крайней мере предпоследней степени посвящения, выются вокруг него, убивают, выкупают, прячут — а он ни сном ни духом. Своего рода талант... Видимо, придётся вас, милейший, по-настоящему убить. Ибо таковая игноранция, как говаривал покойный Пётр Алексеевич, едино смертию бысть наказуема...

Я тоже зачем-то встал.

— Да вы сидите, — махнул он рукой. — Это так, болтовня. Я-то понимаю, что никакой вы не посвящённый — просто, извините старика, дуракам счастье. Выпало вам попадать в унисон Высшему Разуму... Поэт. Любят у нас теперь поэтов. «Из-за свежих волн океана красный бык приподнял рога, и бежали лани тумана под скалистые берега...» Вы хоть знаете, что здесь описано?

— Нет, — ошалело сказал я. — То есть, наверное, знаю...

— Ни черта вы не знаете. Это формула восстановления красной меди из купороса. Алхимический ряд. И далее до конца. Сколько вы книг хотели написать? Двенадцать? Я думаю, никто из живущих не пережил бы такого... Значит, так: буду я вас учить по-своему. Поскольку иного нам с вами не дано, а объяснять, почему не дано, долго — да и не поймёте пока что. Запомните только одно: ни под каким предлогом вы не должны объявлять себя, навещать родных и друзей. Ваша смерть для мира

должна состояться. И никаких стишков в альманахи, к сожалению. Даже под чужим именем. Только в нарочитой тетради и в нарочитом месте. Иначе господа чекисты всех ваших родных и чад, законных и незаконных, смертью казнят. Таково условие — дополнительно к некоторой... кгхм... сумме.

— Большой сумме? — спросил я.

— Не стойте вы того, — крикнул Яков Вильгельмович. — За те же деньги Петра Алексеевича из турецкого плена выкупили...

Я попытался вспомнить эту сумму из гимназического курса истории, но не смог. Что-то с большим количеством нулей — и не ассигнациями, разумеется. Да, в пору было крикать.

Будет на что погулять Советам...

— А для чего это всё, Яков Вильгельмович? — спросил я, чувствуя себя не то самозванцем, не то просто не в своей тарелке.

— Для чего? — переспросил он. — Хм, для чего... Он спрашивает, для чего, — сказал он собаке. — Вас, Николай Степанович, может быть, устраивает то, что все эти годы вытворяли с Россией? Ну-ка, ответьте: устраивает?

— Нет, — сказал я. — Только, боюсь, ничего с этим не сделать.

— А вот это, как говорится, *dis aliter visum*. И не людям изменять их волю.

— Воля богов — тёмная материя...

— Тёмная, — согласился он. — Но и оттенки тёмного способен различать наученный взгляд. Знаете ли вы, например, что на самом деле октябрьское восстание семнадцатого года было потоплено в крови неким пехотным штабс-капитаном?

— Что значит — на самом деле? А всё это? — я обвел рукой вокруг. — Это что — снится мне?

— Уж если солнце можно было словом остановить, то трудно ли повернуть вспять события? И об этом мы поговорим с вами подробно, но позже и не здесь.

Я вдруг почувствовал, что меня куда-то затягивает — как в зыбун.

— Дорогой мой Яков Вильгельмович, — сказала, — вы, вижу, уже распорядились мною. Не спрося согласия. А если я не пожелаю — тогда что?

— Тогда окажется, — сказал он негромко, — что Таганцев и его друзья погибли даром. Что золото Фламелья поддержит Советы — вместо того, чтобы погубить их. Что мы в решающий момент окажемся в положении батареи без снарядов. Хотите этого?

- Нет, — сказал я.
- Тогда считайте себя рекрутированным.
- Ну уж нет. Лоб брить не дам. Я вольноопределяющийся.

3

В жизни они знают только то искусство,
которым добывается смерть.

Томас Мор

На восьмом или девятом по счёту руме Николай Степанович решил наконец остановиться. Было ясно, что его предшественник методично обшарил все точки и забрал (или уничтожил подчистую) все ампулы с ксе-рионом. Да и чёрных свечей, надо сказать, оставалось не так уж много.

— Ты, наверное, думаешь, что мы проиграли? — спросил он Гусара. Пёс наклонил голову. Глаза его ничего такого не выражали.

— Нет, брат, мы не проиграли, — сказал Николай Степанович. — Мы даже ещё по-настоящему и карты-то не сдали... Вот скажи-ка, любезный, где привык русский человек искать правды, спасения и защиты? В столице. Ergo, в Москве. Так мы и двинем в Москву...

Наверное, сказывалась усталость: он начинал чувствовать себя неловко непонятно перед кем. Как старый фокусник, решивший показать мальчишкам «анаконду» и обнаруживший, что пальцы не гнутся. Как отяжелевший боксёр, не успевающий за молодым спарринг-партнёром. Исчез автоматизм движений, исчезло «чувство боя», прежде выручавшее многократно, и приходилось постоянно держать в поле осознанного внимания всё вокруг, и от этого притуплялась мысль.

Да, за почти тридцать лет вынужденного бездействия немудрено утратить всяческую квалификацию...

Он был близок к панике и сам прекрасно сознавал это, и именно поэтому старался держать себя уверенно и спокойно.

Этот приём пока ещё действовал. Надолго ли хватит?..

Николай Степанович открыл оружейный ящик, поводит пальцем и выбрал, наконец, короткий горбатый автомат «Узи» — лучшее в мире оружие для перестрелок в лифтах и сортирах. Главное, его было легко

прятать под полкой. В ящик же он хозяйственно поставил, протерев, карабин — словно тот мог ещё кому-нибудь пригодиться.

Гостинцы из рюкзака он аккуратно разложил на полке. В рюмах ничего не портится и не выдыхается — можно оставить на столе открытым стакан водки, прийти через двадцать лет и выпить её. В рюкзак уместил две тяжёлые зелёные коробки патронов и десяток снаряжённых магазинов. Потом стукнул себя по лбу и начал лихорадочно обшаривать все шкафчики и рундуки.

Но бутылъ «тъмы египетской» нашлась, к сожалению, всего одна. Итого их в рюкзаке стало четыре. Не так чтобы много, но и не так уж мало, если распорядиться ими с умом...

— Ничего, в Москве, даст Бог, ещё найдём, — обнадёжил он Гусара. — Раз уж «Смирнов» опять появился... Где же мы сейчас?

Карта окрестностей, как и положено, висела около входа. Изображала она город Гонконг, он же Сянган, и чёрт бы сломил ногу, только разбираясь в этой карте. Когда-то можно было выйти наверх, побродить по живописным базарам и борделям, подвергнуться непременно ограблению, набить морды паре-тройке китайцев, сшить за час хороший костюм, выкурить трубку опиума, а потом попросить владельца курильни господина Сяо проводить до рума и открыть дверь. Но беда в том, что с некоего рокового дня господин Сяо начисто не помнит, что он хранитель ключа и связан с Николаем Степановичем строгими иерархическими отношениями. И это, к сожалению, грубый факт, а не тонкая восточная хитрость.

Так что, если выйдешь, до Москвы придётся добираться за свой счёт...

В центре стола — там уже существовало тёмное пятнышко — Николай Степанович поставил чёрную свечу: высотой со спичку и чуть её потолще. Произведя в уме вычисления, определил вектор Москвы (как изумились бы сейчас гимназические преподаватели геометрии и капитан Варенников, пытавшийся вбить в его занятую бог знает чем голову начала военной топографии), поставил на пути ещё не зажжённого света согнутую карту (трефовую девятку; впрочем, от этого вообще ничто не зависело, и лишь из эстетства некоторые — где они теперь, эти люди? — пользовались специально изготовленными картами несуществующих мастей или вообще безмастными), взял на плечо рюкзак, кивнул Гусару: за мной, — и поднёс зажигалку к свечке. Откинул крышку (фирменный щелчок, за который немало уплочено), крутнул колёсико... Оно выпало и шустро укатилось под стол.

— Подлецы вы, господа Зиппо, — сказал он. — «“Зиппо” — это зажигалка на всю жизнь...» Впрочем, откуда вам было знать, что покупатель протянет так долго? Гусар, у нас ещё остались спички?

Спички, разумеется, ещё остались.

Свечка занялась тем сиреневатым светом, от которого становится лишь темнее. Так светятся огоньки на болотах и верхушки мачт в бурю. На стену легла чёрная глубокая прямоугольная тень. Николай Степанович сосчитал до трёх, сказал:

— Идём.

И они вошли в эту тень, которая вскоре сомкнулась за ними.

Тот, кого публика знала как Альберта Донателло, непревзойдённого метателя ножей и томагавков, а друзья и женщины — как Коминта, был на самом деле Серёжей Штарком, поздним сыном Алексея Герасимовича Штарка, того самого чекиста, похожего на профессора, с которым Николай Степанович столкнулся в первый день своей второй жизни. После неизбежной гибели чекиста в пламени им же раздутой искры Серёжу поместили в печально знаменитый детдом «Косари» под Новгородом. Там его — Серёжу — переименовали, присвоили гнусную фамилию Цыпко (её носил кобель-завхоз, собственных детей иметь не способный, но род желавший продолжить). Продолжателей рода он пищей не баловал, поскольку был сторонником радикально-спартанских методов воспитания, а Тарпейской скалы в окрестностях не было. Когда в результате этих методов Серёжа-Коминт остался один, детдом волей-неволей пришлось закрыть, а несуществующих уже воспитанников рассредоточить по другим детским и дошкольным учреждениям. Так Коминт Иванович Цыпко оказался питомцем тридцати четырёх детских домов одновременно. Фактически же он не доехал ни до одного. Никуда не доехал и сопровождавший его завхоз Цыпко...

Дважды сиротку как-то незаметно подобрали цирковые. Умение малыша обращаться с колюще-режущими предметами и недетская основательность в жизненных вопросах восхитили выдавших виды артистов. Пожилая чета Донателло (в миру — Сидоровичи), всю жизнь работавшая с ножами и томагавками, усыновила его. Но фамилию Цыпко он зачем-то попросил ему оставить.

Началась самая светлая пора в его жизни — цирковое ученье. Коминту было достаточно представить стоящими перед собой кого-нибудь из тех мордастых ребят, которые приходили сначала за отцом, потом за матерью с бабушкой, а потом и за ним, чтобы нож или томагавк ложился точно в цель.

Когда Советский Союз, верный союзническим обязательствам, вероломно, без объявления войны, напал на милитаристскую Японию, Коминт служил в пешей разведке. Пешком, конечно, не ходили — наступающие войска делали по сто километров в день. Другое дело, что разведка почти всюду поспевала первой. Так у Коминта появился великолепный самурайский меч и набор китайских метательных ножей, а также множество разнообразных сведений об японских секретных убийцах и шпионах «ниндзя».

Полковому особисту очень нравились великие боевые умения молодого разведчика. Он провел с ним целый ряд проникновенных бесед, открывая незамысловатые сияющие перспективы смершевской карьеры и особо давя на любовь к Родине. Неизвестно, как повернулось бы дело, но однажды несчастный особист был найден бездыханным. Бамбуковая стрелка торчала у него из щетины затылочной ямки. На похоронах суровый Коминт плакал и клялся отомстить.

Две недели спустя он попал в госпиталь с признаками неизвестного военной медицине тропического заболевания, а через полгода лечения был списан вчистую. Надо ли говорить, что болезнь прошла бесследно и без каких-либо осложнений сразу же за воротами хабаровского госпиталя...

Время с сорок шестого по пятьдесят третий год для многих работников МГБ, бывшего НКВД, омрачилось, помимо политических, и чисто личными неприятностями: ни с того ни с сего гибли, попадая под уличный транспорт и поезда метрополитена им. Л. М. Кагановича, тонули, выпадали из окон, зарезывались хулиганами, поражались электрическим током и ботулизмом их любимые собаки, женщины, жены, дети, родители, братья и сёстры. Так, следователь Долгушин Пётр Романович лишился последовательно всех родственников, любовниц и коллекции певчих птиц, после чего сам наложил на себя руки (правда, довольно странным и редким способом)... Сменяющие друг друга на боевом посту следователи пытались вывести систему этих умертвий, раскрыть неведомую могущественную террористическую организацию, через разветвлённую (внутреннюю и зарубежную) агентуру выйти на жестоких таинственных убийц — но тщетно. Коминт же в это время весело колесил по стране, ставил новые номера, женился на дочке фокусника-манипулятора Асрияна и сделал её своей бессменной партнёршей...

Так продолжалось до нечаянной встречи его с Николаем Степановичем Тихоновым. После этого полоса таинственных убийств внезапно прекратилась, и следователи пришли к неизбежному выводу, что убийца найден. Или помер. А знаменитый муровец Щеглов просто махнул покалеченной трёхпалой рукой и сказал мрачно: «Выгорел материал...»

Сидели, по давнему обыкновению, на кухне, потому что в столовой было шумно и небезопасно: внуки осваивали томагавки. Пили сидро.

— ...позвонила с аэровокзала, еле нашла жетон, сказала, что падают, что вызывали «скорую». Сейчас она в Боткине, живая, но тяжёлая, не пускают к ней. А твои, значит...

— Да, и мои.

— Эх, ввязался ты...

— Да вот, ввязался сдуру. Главное — непонятно, во что. То ли какие-то чёрные маги, то ли...

— И что теперь делать?

— А что делать? Будем брать тот дом. В Крыму. Ты и я.

— М-да. Ты хоть знаешь, что там искать?

— Примерно — знаю... Да, в конце концов, хоть дитя вытащим.

— Ну, разве что.

— Тебе мало?

— По самые уши.

— Если повезёт — выйдем на что-то большее.

— Моим недобитым бы такое везение.

— Ты пойми, старикашка: первый раз за двадцать восемь лет — будто бы звоночек оттуда. Первый раз!..

— А может быть, это другое?

— Может. Но даже если и другое...

Коминт помолчал.

— Ладно, — сказал он и вдруг улыбнулся весело и хищно. — Работаем рекордный трюк. И если не придём на копчик...

— То быть нам королями, — закончил Николай Степанович.

4

Д'Артаньян по обыкновению произвёл выкладку, и у него получилось, что час равняется шестидесяти минутам, а минута — шестидесяти секундам.

Александр Дюма

Они расположились на базарной площади древнего греческого города Керкенидида и стали ждать ночи. Облака, просвеченные розовым заходящим солнцем, очень медленно плыли — слева направо...

Здесь при желании можно было без опаски развести небольшой костёр: с земли огонь в раскопе не будет виден, а сверху смотреть некому, потому что боги от Земли уже давно и навсегда отвернулись. Дым развеивался бы в воздухе лёгким вечерним влажным ветром, а запах его неизбежно заглушила бы лютая вонь от целебного грязевого озера.

— Давно, видно, тут археологи не бывали, — сказал Коминт.

— Так ведь их сюда и не пустят, — сказал Николай Степанович, — пока в Киеве не постановят, от кого древние греки произошли: від хохлів чи від москалів...

— Удивляюсь я, как эти греки тут зимой в хитонах без штанов-то ходили. В сандалиях на босу ногу.

— Наверное, климат был другой. Князья тьмутараканские охотились с гепардами, князя Олега тварь, наподобие гюрзы, укусила... Впрочем, Макс Волошин, не к ночи будь помянут, именно в греческом одеянии всю жизнь и проходил здесь.

— И без штанов? — не поверил Коминт.

— Не знаю, не заглядывал...

Гусар тенью скользил по кромке раскопа, неся боевое охранение.

— Белый он, приметный, — вздохнул Коминт.

— Он когда надо белый, — сказал Николай Степанович. — А когда надо...

Словно услышав, что о нём говорят, пёс спрыгнул в раскоп и, огибая углы фундаментов, выбежал на площадь.

— Кто-то идёт, — сказал Николай Степанович, вставая. — Неужели выследили? Нет, я бы понял. Кто-то посторонний.

— А кто нам свои... — махнул рукой Коминт.

Он проверил «калашников» и снова поставил его на предохранитель.

— Может, кладоискатели не унялись, — предположил Николай Степанович. — Дай-ка посмотрю... — он закрыл глаза. Здесь, в безлюдье, могло кое-что и получиться. Коминт поёжился. За много лет их совместной работы он так и не привык до конца к жутковатым фокусам командира. — Так... Восемь человек, все с оружием. И даже... ого! Гранатомёт. Серьёзные ребята.

— Теперь все серьёзные, — проворчал Коминт. — Все с гранатомётами. Одни мы, как сироты...

— А зачем тебе гранатомёт? — удивился Николай Степанович. — Ты, по-моему, ножом и танк вскроешь, как жестянку.

— А на дистанции? — не унимался Коминт.

— Ладно, будет тебе и гранатомёт... помолчим-ка пока.

Посыпалась земля. Где-то, невидимые простым глазом, в раскоп спускались люди.

— Прятаться будем? — спросил Коминт.

— А смысл? Они нас и так не увидят. «Серая вуаль» — штука хитрая. Сиди и слушай.

«Серая вуаль», конечно, не делала человека невидимым. Просто окружающие как-то забывали на него посмотреть. А посмотрев, тут же забывали, что посмотрели.

Появились — по их мнению, бесшумно — первые четверо.

— Нормально, командир, — вполголоса сказал один, оборачиваясь. — Только собака бегают, прирезать бы...

Гусар повернул тяжёлую башку и внимательно посмотрел на говорившего. Тот осёкся.

— Слу-ушай, Лёвка! — сказал другой. — А может, это ихняя собака? Вот мы и придём: не вы ли собачку потеряли?

— Ага, — мрачно сказал Лёвка. — С гранатомётом... Мозгом думать надо.

Был он немолод и усат. Наверное, за это его и называли командиром.

Одета группа была достаточно пёстро: кто в зимнем камуфляже, кто в летнем, кто в шинели, кто в кожане. Оружие тоже было разнообразное: три «калашникова», ПППШ, винтовка-тозовка, охотничий «Медведь» и помповый дробовик. Гранатомёт несли в брезентовом чехле.

Ополченцы, как определил их для себя Николай Степанович, расположились в другом углу площади и закурили. И он с удивлением отметил, что не курил сегодня вообще весь день... и, пожалуй, не курил вчера. И позавчера. Это был по-настоящему дурной признак.

— Подождём, пока они там все перепьются, — сказал командир Лёвка. — И возьмем тёпленькими. Прямо с баб сволочей поснимаем... — он зашипел, как бы подбирая потёкшую слюну.

— На воротах всё равно кто-то будет, — сказал гранатомётчик. У него был резкий армянский акцент. — Я же говорил — с моря заходить надо. С моря всегда прикрытие небольшое.

— На море у них катер с пушкой. И в катере два гаврика. Товар они на катере возят или где?

— Катер-матер... — проворчал армянин. — Подплыли бы тихо — и никакого катера. Где катер? Не было катера. Никогда не видел катера. А вот где твой поганый блядский мент, командир?

— Придёт, рано ещё...

— Что-то я ему не верю, — сказал армянин.

— А кому ты веришь?

— Маме верю. Генералу Погосяну верю. Ментам не верю. Никогда, понял? Ещё вот таким от пола был, не верил ментам. И папа мне говорил: последним дураком будешь, если ментам поверишь.

Похоже, он тоже был немолоденький: если и младше Лёвки, то заметно старше всех остальных бойцов. Лет тридцать, определил для себя Николай Степанович. И если дойдёт почему-либо до драки, то — самый опасный боец...

— Ну и правильно делаешь. Но это нужный мент, понимаешь, Тигран? Нужный. Нам без него туда не в жисть не сунуться.

— Ты командир... — сказал Тигран и замолчал, оставшись при своём мнении.

Сидели тихо, изредка чем-то металлически брякая. Кто-то разбирал, успокаивая себя этим, пистолет.

— Не нравится мне собака, — сказал парень в шинели. — Чего она тут ходит? Будто следит. За мной раз кошки следили — жуткое дело...

— Кошки?

— Ну да. Куда ни пойду — следом кошка. Так с неделю за мной и ходили.

— Валерьянку на штаны пролил, — сказал Лёвка. — Или валокардин. Кстатi, никто не взял с собой валокардина?

— Что, сердце прихватило?

— У командира не бывает сердца.

— Идёт, — сказал тот, который был с ППШ. — Слышу.

— Вояки, — сказал Тигран. — Слышит он... Я вот слышу, что машина какая-то к лагерю свернула. Это я слышу.

Раздался шорох гальки, и появился девятый: в военного образца крытой куртке и каскетке цвета маренго.

— Ну, слава Богу, — сказал Лёвка. — Докладывай обстановку, лейтенант.

— Чего докладывать! Пьют! — радостно сказал лейтенант. — Дато с Гвоздём уже в отключке, водилы на рулях спят, бляди скучают, и даже охрана потихоньку принимает. Я им в будку графин коньяка унёс. Хороший коньяк, одесский, забористый. Валит с ног, как пулемёт.

— А Барон?

— Барон поёт — что ему. Поёт Барон. «Ай да кон авэла...»

— Гвоздь в отключке? — с сомнением спросил Тигран.

— Так он же на старые дрожжи льёт! — закричал лейтенант. — Он на старые дрожжи! Знаешь, как они вчера гудели!

— Сколько охраны? — деловито спросил Лёвка.

— Трое у Дато и столько же у Гвоздя. Полагается поровну. Давайте, парни, покажите татарве, хохлам да цыганам, кто в Крыму хозяин! Мы же люди официальные, нам нельзя...

Этого Николай Степанович не вынес. «Тот?» — прошелестел он Коминту, и Коминт пожатием руки подтвердил: тот.

— Ну, если уж вы официальные, — сказал он, подходя сзади к лжементу поганому и накладывая длань на погон, — то я — сама Матильда Кшесинская.

Все вскочили, но Коминт негромко сказал:

— Не вздумайте стрельбу устраивать, козлы. Услышат.

— Да мы с тобой и вручную... — начал кто-то, но Гусар сбил говорившего с ног и встал ему на плечи.

— Спокойно, господа, — сказал Николай Степанович. — Из ваших разговоров я понял, что пришли мы сюда с одной целью. Заодно хочу вас предупредить, что этот вот субъект отнюдь не лейтенант Сермягин, как он себя называет, а глава службы безопасности УНА-УНСО Константин Иванов, он же Котик Перехват. И в лагере сейчас не пьянка, как вам было солжено, а то, что в их кругах именуют «стрелкой», а в высших — «саммитом». Пьяных там нет, дураков тоже. Боюсь, что все дураки сидят здесь. Константин, потрудитесь осветить обстановку надлежащим образом, — движением руки он развернул голову «бэзпэчнику» так, чтобы тот встретился с ним глазами. Испуг и бессильная злость читались в этих глазах...

И панически-напряжённым голосом Константин, подчиняясь чужой воле, начал выкладывать всё, как оно есть на самом деле. А на самом деле...

— Нам ведь что нужно? — торопливо говорил Котик. — Нам нужно, чтобы вы там шум устроили, чтобы Дато на Гвоздя и Барона плохо подумал, а те на него, ясно? Чтобы не сговорились они, потому как сговорившиеся они нам не нужны. А так ничего плохого я же вам не хотел...

— Не тронь пушку, — предупредил кого-то Коминт.

— Достаточно? — спросил у Лёвки Николай Степанович.

— А вам я с какой стати верить буду? — буркнул Лёвка. — Может, вы тоже...

— Представленных доказательств мало? — поднял бровь Николай Степанович. — Кстати, кто вы, герои?

— Мы — Фронт русского национального освобождения Крыма. А вы кто такие?

— А мы просто разыскиваем ребёнка, похищенного цыганами. Девочку держат здесь. Считайте, что мы из частной сыскной конторы.

— Крутая, должно быть, контора, — с уважением проговорил Тигран. — А сейчас этот гётферан правду сказал?

— Всё, что мы спросили, он сказал. А если о чём-то забыли — сами виноваты. Впрочем, я тут давно с оптикой лежу. Оптика у меня хитрая. Пока что всё сходится.

Про оптику он сказал для отвода глаз. «Оптикой» Николая Степановича был Коминт, весь день незаметно проведший там, на территории бывшего пионерлагеря. С приказом всё узнать и ни во что не вмешиваться.

— А катер?

— Дался тебе этот катер... — проворчал Лёвка.

— Хороший катер. Поэтому интересуюсь.

— На катере тоже охрана, — сказал Котик. — Четверо.

— Котельная, — страшным голосом напомнил Николай Степанович.

— Не знаю... — Котик вдруг содрогнулся мгновенно и скривился набок, как при приступе холецистита. — И знать не хочу. Не моё дело. Сидит там какой-то придурак, не выходит никогда.

— А дети?

— Дети к нам не касаемо. Это у Барона спрашивайте.

— Спросим и у Барона... Значит, сказать тебе больше нечего?

— Нечего, начальник, — обрадовался Котик.

— Ну так прощай, — сказал Николай Степанович, убрал руку с плеча — и тотчас китайский нож влетел провокатору под левую лопатку.

Ополченцы в ужасе отпрянули.

— Ребята! — расцвёл Тигран-гранатомётчик. — Настоящий командир пришёл!

Между Числом и Словом

(Майоренгоф, Рижское взморье, 1923, январь)

Три чайки молча плавали в прозрачном воздухе, описывая странные полужакомые фигуры. Пляж был невыносимо бел после тихого ночного снегопада, и только две цепочки синеватых следов тянулись рядом, накладываясь и пересекаясь. Люди шли навстречу друг другу, тихие

и задумчивые, постояли, обменялись впечатлениями и побрели дальше, каждый по своим несуществующим делам.

Облупившиеся купальни терпеливо настроились ждать лета, заколоченные чёрным горбылем.

Скучно было в Майоренгофе, скучно и пусто.

Лишь на главной (единственной) улице городка наблюдалось какое-то оживление. Дремали на козлах два извозчика в необъятных собачьих дохах и цилиндрах, шёлковых когда-то. Компания совершенно латышских цыган, скромно одетых и разговаривающих хоть и по-своему, но вполголоса, выходила из винного подвальчика. На каждом крылечке сидели кошки, важные, толстые и солидные. Я уже обращал внимание на то, что кошек хозяева-латыши из принципа не кормят, но мышьяная охота здесь богатейшая...

Редкие встречные оглядывались на меня в тщательном скрываемом изумлении и как бы невзначай. Все они были белые, голубоватые, зимние, а я — почти чёрный. При белых выгоревших волосах.

Вход в алюс-бар, как и положено было, запечатали лёгким заклятием, и я прошёл через него, как через краткий порыв встречного ветра. Открывшаяся взору картина меня восхитила.

Войди сюда невзначай посторонний человек, он не удержался бы от восклицания, увидев, как сухонький раввин, одобрительно ворча по-немецки, с азартом обглаживает свиные ножки. Ах, подумал бы он тоже по-немецки, майн либер херрен, как многое изменилось в несчастной Германии без кайзера!.. Напротив «раввина» сидел настоящий рабби Лёв — величавый старец с аккуратной стриженной седой бородкой, в сине-сером двубортном пиджаке и вышитой сорочке, старец, которому больше приличествовало бы бродить по саксонским и вестфальским деревням, слушая птиц и записывая пастушеские песни; носитель же подлинно арийского тайного знания, барон Рудольф фон Зеботтендорф, выказывал обликом все признаки восточноевропейского местечкового происхождения. Тем более что во имя вящей маскировки он носил накладные пейсы и маленькую шёлковую ермолку. Помимо нас троих и хозяина, в пивной никого не было и быть не могло; да и я, признаться, чувствовал себя лишним. Однако при беседах такого уровня по традиции положен был посредник, наблюдатель, третейский судья... А за такого договаривающиеся стороны взаимно согласились признать лишь посланца Мадагаскара.

Наставник Рене решил: пусть это и будет первой моей комиссией.

Я бы, понятно, назывался, комиссаром, если бы это старинное слово не пришлось исключить — по очевидным причинам — из нашего рабочего словаря. Пришлось вернуться к старому персидскому «ди-перан»...

Наставник сказал, вздыхая: Николай, ты же понимаешь, что и те, и другие занимаются вздором. Но это опасный вздор, и поэтому мы, к сожалению, должны знать всё.

— Всё чисто, — сказал я по-немецки.

Барон кончил жрать и быстрым движением вытер руки о волосы. Потом он потянул носом и попытался раскурить сигару из высушенных капустных листьев, пропитанных эрзац-никотином. Рабби с истинно еврейским многостраданием готов был перенести и это, но не выдержал я. И, раскрыв серебряный портсигар (мой абиссинский трофей), предложил барону пахитоску, собственноручно мною набитую очень хорошим турецким чёрным табаком «абдуллай». Барон, естественно, взял две — и одну сберёг за ухо.

— В Германии выдают одно куриное яйцо на одного ребёнка в месяц, — неожиданно глубоким голосом произнёс он. — А плутократы...

— Бросьте, — сказал я, смакуя новообретённый немецкий. — Никогда не поверю, что общество Туле так стеснено в средствах... — мне не следовало этого говорить (равно как и угощать барона пахитоской), но протокол протоколом, а настоящая живая жизнь — это другое.

Барон дососал пахитоску до самого мундштука, а окурок бросил в миску с костями.

— О наших средствах предоставьте судить нам, юноша, — сказал он высокомерно. В глазнице блеснул несуществующий монокль. — Ваша задача, молодой человек, — не позволить допустить, чтобы евреи в очередной раз обманули человечество.

— Я ведь могу и прервать переговоры, — сказал я и посмотрел ему в глаза, а сам подумал: будешь курить свою капусту.

Похоже, барону пришла в голову эта же самая мысль.

— Я, разумеется, не имел в виду рабби Лёва, — сказал он. — Мы люди одного круга. Благородство, как известно, выше крови. Но, согласитесь, ведь и рабби Лёва могут использовать в своих целях всяческие нечистоплотные личности наподобие Жаботинского или, не к столу будь сказано, Бен-Гуриона...

— Кто такой Жаботинский? — с интересом спросил рабби Лёв. — Я уже не в первый раз слышу это: Жаботинский, Жаботинский...

— Мы здесь вести переговоры не об этом собрались, — сказал барон. — Дело вот в чём... — он вдруг замолчал и хмуро посмотрел на меня. С большим, думаю, удовольствием отправил бы он меня сейчас отдохнуть на дне местной тинной речушки... Да только вот беда: не мог. — Дело вот в чём. Гезельшафт Туле предлагает Каббале обмен. Честный обмен. Честный и выгодный обмен. Существуют, как вы знаете, сокровенные руны...

И тут произошла полная неожиданность: в пивную ввалились посетители, коих никакой протокол переговоров не предусматривал и предусматривать не мог. Было их пятеро, все примерно моих лет и чуть помоложе, кто в штатском, кто в поношенной шинели, явно мои соотечественники и наверняка товарищи по оружию. Через заговорённую дверь они прошли так же легко, как проходили в своё время через большевистские полки и дивизии. Ничто не могло свалить их с ног, кроме пули...

Мало их было. Просто мало. А пуль — эх, слишком много пуль запасено было в арсеналах на победный семнадцатый. Так много, что хватило и на девятнадцатый, и на двадцать первый...

— Сакрыто, — сказал хозяин.

— Открой, — велел кадыкастый, в шинели и пенсне. Бывший дроздовец, наверное. Рука его, согнутая, чуть дрожала.

— Сакрыто, — повторил хозяин и демонстративно повернулся спиной. — Не шуми. Или ити сфая софдепия пиво пить.

— Братцы, — затосковал дроздовец громко, — столбового дворянина... чухна белоглазая...

Что будет дальше, я уже почти видел. Хозяину набьют физиономию, и он побежит за полицейским; барона обзовут, к вящей радости рабби, жидовской мордой...

А закончится вот чем: барон применит не сокровенную, но вполне действенную руну «иса», и мои братья-офицеры вдруг перестанут понимать, кто они есть и где находятся, затоскуют как бы предсмертно и побредут куда-то бесцельно и неудержимо, да так и не остановятся до самой смерти в ледяном пространстве...

Допустить такого я не мог.

Я встал. Будь я одет, как они, даже разговор мог бы состояться. Я заказал бы выпивку на всех, и мы проговорили бы до утра... то есть как бы мы, потому что моего отсутствия ребята уже бы не заметили. Переговоры же барона и рабби, Туле и Каббалы, пошли бы своим чередом. Но, к сожалению, был я в английском костюме, при котелке и перчатках, с лаковой

тостью — преуспевающий компатриот, крыса, успевшая сбежать не с пустыми лапками, пока они там держались зубами из последних сил — и гибли, гибли один за другим. Пристрелят они меня, как сволочь, как собаку — и правы будут. А потом — обзовут барона жидовской мордой...

— Вам ещё рано сюда, господа, — сказал я, подходя. Я был всё тот же, только во лбу моём они видели дырочку от пули.

— Иисусе Христе, — прошептал тощий в артиллерийской фуражке и мелко перекрестился. — Мертвяк. Допились. Донюхались...

— Господа, — я постарался смягчить голос до бархатного. — Живые сюда не ходят. Не принято. Вы разве в дверях ничего не заметили?

— Ника? — вдруг страшно прошептал серолицый, с уланским кантом, офицер. И я узнал моего давнего и недолгого друга, тогда вольноопределяющегося Москаленко; мы провели с ним два поиска в Пруссии, после чего он с простреленным лёгким отправился в тыл. — Так это правда? Когда же тебя?..

— Не так давно. В двадцать первом, в питерской чека.

— А я вот... видишь, до чего дошли?

— Вижу, Павлуша, вижу. И завидую. Не торопитесь к нам сюда, скучнее места ещё не придумано. И если вам не трудно... вот, не откажите принять — у нас они не в ходу, а вам могут пригодиться, — я протянул им пачку: здешние несерьёзные, но вполне ходовые латы пополам с английскими фунтами.

Дроздовец посмотрел на меня пристально, как бы примеряясь вложить перст в пулевое отверстие. Потом скомандовал:

— Эскадрон, кру-гом. В рай — шагом марш! — на костистом лице его разлилась смертная бледность.

Деньги он, однако, при этом прихватить не забыл и сам отходил пятясь, не подставляя спину.

Переговоры продолжились.

— Я весь внимание, — сказал рабби Лёв и поправил галстух. Было заметно, что надел он этот предмет в первый раз и очень им гордится.

— Существуют, как вы знаете, сокровенные руны, — повторил барон. — Три из них нам удалось разрешить. При раскопках в Лапландии профессором Штауфенбергом был найден резной моржовый бивень...

— Моржовый что? — не расслышал рабби.

— Моржовый бивень, венчавший шлем воина.

— Это, позвольте, вот такие викинговые шлемы с рожками? — изумился рабби. — Какой же должен быть большой викинг!..

— Землю, как известно всем образованным людям, населяли в старину гиганты, — поучающе сказал барон. — Но и для гиганта такой шлем был бы немного великоват. Наши специалисты гарантированно установили, что подлинным владельцем шлема являлся сам бог Локи.

— Что вы говорите? — весело всплеснул руками рабби. — И как же это удалось гарантированно установить?

— Я не намерен спокойно выслушивать ваши неостроумные издевательства, — сказал, дёрнув щекой, барон.

— Но мне это действительно интересно!

— Наши методы вас не касаются. Справки были наведены в самых компетентных слоях астрала. За точность мы ручаемся.

— Если я вас правильно понял, — сказал рабби, — это ваш товар. Я, правда, не знаю, что мы будем делать с этим товаром, даже если, страшно подумать, купим его. Что, скажите мне?

— С этим товаром вы сможете, наконец, возродить своё государство, — сказал барон твёрдо. — Без всяких там Бен-Гурионов.

— В Лапландии? — невинно спросил рабби.

— В Палестине, старый ты дурак! — рывкнул барон. — В Палестине! И чем скорее вы все туда уберётесь...

— Барон, барон, — сказал я. — Извинитесь.

— Да. Рабби Лёв не дурак. Я извиняюсь.

— Дорогой барон, — сказал рабби. — А как вы мыслите реальное применение рун Локи для создания государства бедных евреев?

— Как?! — закричал барон. — Посмотрите, он меня спрашивает, как! Да во-первых, с их помощью были возведены неприступные стены Асгарда! Были разрушены Фивы Стовратные! Этими рунами владели Аттила и Агамемнон! Нагарджнуна и Карл Великий! («И где они все теперь?» — негромко и в сторону спросил рабби.) Он-то их и закрыл, свинья голова с дерьмом вместо мозгов и сраками вместо глаз, по наущению ваших христианских попов!..

— Так уж и моих? — не поверил рабби.

— Да все вы одним мазаны...

— Барон! Второе предупреждение.

— Короче: руны эти дают богатство, славу и воинскую доблесть.

— А фатерланд вы оставляете ни с чем?

— Арийскому племени нет нужды черпать силы в мелких суевериях! — барон нервно протянул руку к моему портсигару, пощёлкал пальцами.

— Из-за этих мелких суеверий я был вынужден покинуть Прагу, чего не делал уже... м-м... скажем, так: несколько лет. Вы не поверите, как неприятно старому раввину путешествовать в этих содрогающихся железных...

— Рабби, — сказал барон проникновенно, — вы же меня знаете! Я же никогда не оторву уважаемого всеми человека от учёных занятий по сущим пустякам! Конечно, мы даем вам эти руны как бы в аренду. В пользование. Разгоните ко всем чертям арабов, обустройтесь, восстановите Храм — тогда и вернёте.

— И что вы хотите взамен? — спросил рабби тихо.

— А вы ещё не поняли?

— Понял. Но вы всё равно скажите, вот молодой человек тоже хочет услышать.

— А он что, тоже не понял?

— Господа, господа, — сказал я. — Всё должно быть произнесено вслух. Не я завёл это правило...

— Он прав, Рудольф, — сказал рабби.

— Тетраграмматон, — шёпотом произнёс барон и повторил ещё тише, но почему-то ещё слышнее: — Тетраграмматон.

От этого шёпота не то что у меня по спине — по стенам ко всему привычной пивной побежали мурашки. Латыш-хозяин алюс-бара за стойкой вдруг наклонил голову и замер, будто прислушиваясь к далёкому приближающемуся грому.

«Уж не от Райниса ли он?» — подумал я мельком, но прогнал это подозрение: место встречи подбиралось не мной, учеником, — и крайне тщательно.

Здесь было чисто.

— Мой ответ: никогда, — сказал рабби.

— Даже в аренду?

— А в аренду тем более.

— И даже на самых выгодных условиях?

— Барон, вот я сию перед тобой, старый Исав. И ты танцуешь передо мной, старый Иаков. И твоя чечевица давно остыла. Что слава, доблесть, богатство? Дым. И ты хочешь за дым приобрести солнце? Смешно. Вот и молодой человек посмеётся вместе со мной. Ха-ха-ха.

Я и рад был бы от души посмеяться, но не знал толком, над чем. Да и вид барона не располагал к весёлому смеху. Так выглядит человек, который опрокинул стопку чистого спирту, а там — вода...

Он долго сидел, обхватив голову руками. Потом выпрямился. Лицо его было белое.

— Ты мне всё равно отдашь его, — сказал он, присвистывая бронхами. — Сам придёшь. На коленях приползёшь. Молить будешь: возьми. Даром возьми. Ты просто не представляешь цену, которую тебе придётся заплатить за сегодняшний отказ...

Но, как бы ни шипел барон, а рабби Лёв в своё время на равных говорил с императором Рудольфом Габсбургом, тёзкой барона и великим алхимиком...

— Господа, господа, — поспешно вклинился я, — а что это мы пиво-то не пьём?

5

Побеждая, надо уметь остановиться.

Лао Цзы

Операция не могла не удалиться, поскольку Николай Степанович был самым старым солдатом на свете.

— Сверим часы. Без четверти три.

— Так точно, — сказал Лёвка.

— Два сорок два, — сказал Тигран. — Сейчас подведём.

— Гусар, — сказал Коминт.

И точно — вернулся Гусар. Встал боком, порываясь убежать обратно и как бы приглашая идти за собой.

— Ну, всё, — сказал Николай Степанович. — В три ровно переходим шоссе. Лев, иди за Гусаром, он дорогу знает. И — слушайся его...

— Постой! — вскинулся Лёвка. — У них же у самих собак — как собак... тьфу... Дато всюду со своим ротвейлером ходит, даже в сауну... и вообще...

— А вы, значит, и об этом не подумали? Нормально, ребята. Всех вас стоило бы расстрелять перед вашим же строем...

Тигран нервно хихикнул.

— А ты, Саят-Нова, что бы ни происходило, хоть голые девки из-под каждого куста полезут, — бежишь на пляж и очень метко стреляешь по катеру. Иначе они из своего «владимира» нас пошинкуют мелко-мелко.

— Понял, командир, — сказал Тигран. — Мне тоже этот катер очень не нравится, не знаю почему.

— Ну, всё, — сказал Николай Степанович. — Патронов не жалеть, пленных не брать.

— И блядей? — с сожалением спросил кто-то.

— Женщин и детей не трогать. Мы не горцы.

— Понял, командир!..

Шоссе переползли тишком ровно в три часа. Коминт вёл, Тигран шёл вторым, Николай Степанович прикрывал. Ещё десять минут ушло на поиск отметины, оставленной Гусаром.

— Здесь, — сказал, наконец, Коминт.

Лаз в зарослях ежевики был совершенно незаметен, и выдавал его лишь резкий мускусный запах. Луна, наливаясь багровым, висела справа — на дачу.

Они протиснулись в узкий лаз. Под забором было подмыто, промоину затягивала железная сетка, отодранная с одного конца. По верху забора висела спираль Бруно и светились глазки охранных устройств. А здесь — всего только крапива, зимой не имеющая силы.

Стрелки сошлись чуть пониже трёх, когда маленький отряд пробрался сквозь акацию и занял исходную позицию у подножия разросшейся шелковицы. Луна теперь была впереди, очень низко, и на фоне серебрящегося неба резко отпечатаны были силуэты корпусов, тарелка спутниковой антенны на крыше столовой и тонкая труба далёкой котельной.

— Этот корпус? — прошептал Николай Степанович, указывая Коминту на ближайший к ним.

— Этот.

— Ну, с Богом... — он перекрестил друга, тот кивнул — и растворился в темноте.

Потянулось томительно время. Минута. Две минуты. Три.

— Что ж ты, Гусар...

И тут грянуло!

Это происходило довольно далеко, и всё же — такого воя и рычания дикой собачьей битвы ему слышать не приходилось. Будто не десяток собак носился по бывшему (впрочем, почему бывшему?) лагерю — и вдруг сошлись каждая против всех, — а сотни, тысячи... Тигран напрягся и задрожал.

— Тише, воин, — Николай Степанович дотронулся до него. — Дай им втянуться.

— Мой выстрел первый...

— Конечно. Поэтому и говорю: дай им втянуться.

Крики людей, слабые хлопки в небо — было ничто.

Прошла ещё минута.

— Давай.

Тиграну нужно было пробежать метров пятьдесят до бетонной решётки, символически отделяющей лагерь от пляжа, но Николаю Степановичу показалось, что гранатомётчик просто исчез здесь и тут же появился там. Положил аккуратно трубу в развилку бетонных планок, постоял, ловя цель, — спина его была натянута, как струнка, потом расслабилась...

Выстрел был оглушительный.

А попадание — ослепительным. Огненное полушарие взорвалось над морем, высветив и надолго зафиксировав пирамидальные тополя, отблески в тёмных окнах, зеркально-чёрные машины...

Несколько хлёстких очередей ударили позади, а потом зарычал пулемёт, и ничего не стало слышно.

— Ну, вперёд, — сказал сам себе Николай Степанович и быстро пошёл, почти побежал, к темневшей вдали котельной.

...Живые лежали справа, а мёртвые слева. Мёртвых было значительно больше. Бляди жались к стене и даже не всхлипывали: понимали. Николай Степанович пересчитал Лёвкино воинство: одного не хватало. Всего только одного...

— Я Вовика у шоссейки положил, — сказал, подходя, разгорячённый Лёвка. — С пулемётиком. Если ментура в городе загоношится...

Лицо Лёвки было по низу обмотано серым в клеточку шарфом. Николаю Степановичу удалось убедить русское воинство, что прятать лицо от внутреннего врага не позор, а прозорливость.

— Хорошо сработано, парни, — сказал Николай Степанович. — Всякое дело следует начинать с победы. В двух словах: как?

— А здорово! Гусар, наверное, сучкой прикинулся, все псы за ним помчались, а потом грызться начали, а охрана их растаскивать давай, водой, то-сё... Бдительность ослабили. Ну, тут и мы — помогли. Разняли, больше не грызутся!

— Мой старикашка-ниндзя ещё не появился?

— Здесь я, Степаныч, — сказал из дверей Коминт. — Мне люди нужны, детишек нести. Они не все ходить могут.

— Возьми блядей. Лев, выделите двух своих ребят — на всякий пожарный. А я пока взгляну на наших аманатов... Вы знаете, кто такие аманаты, Лев?

— Я кандидат исторических наук! — обиделся Лёвка.

— А чем же занимаетесь, помимо сражений?

— Да так... депутатствую.

Николай Степанович посмотрел на него с уважением.

— Крепкий депутат нынче пошёл. Куда там Булыгинской думе... У меня тоже сын был историк. И тоже Лев.

— Был?

— Да. Умер недавно.

— Своей смертью?

— Да уж не чужой...

— Что-то молодые часто помирать стали. Эх, времечко...

Николай Степанович встал над лежащими мордой в ковёр аманатами. Носком сапога заставил крайнего в ряду перевернуться. Это был одесско-восточного вида молодой человек с тонкими усиками и щедрыми бланшами по всей физиономии.

— Дато, — с гордостью подсказал из-за спины Тигран.

— Имя меня интересует менее всего, — сказал Николай Степанович.

— Маму я твою мотал, — тускло заговорил Дато, — папу я твоего мотал...

— Ну-ну, — поощрил его Николай Степанович. — Продолжайте.

— Ты покойник, понял? Вы все покойники. А ну, пустите меня!.. — он сорвался на визг.

— А мы и так все покойники, только в затянувшемся отпуске, — пожал плечами Николай Степанович. — У вас есть что добавить?

— В эмвэдэ хочу звонить! — потребовал Дато.

— Незалэжной Украины? — уточнил Николай Степанович. И, оборотясь к воинству, сказал с укором: — Я же велел пленных не брать...

— Да вот, батько... произошло. Допросить, может, надо...

— Где товар прячут? — поднял бровь Николай Степанович.

— Как бы в том числе.

— Вот уж нет, господа, — сказал Николай Степанович. — В этом деле я вам не помощник. А если у вас хватит смысла прислушаться к доброму совету, то вот он: не торгуйте во Храме.

— Но, батько, ведь дело требует денег...

— Так берите деньги. Но — не торгуйте. Я многое повидал и знаю, что говорю. Эй, Дато — или как там тебя? Сколько выложишь за свою шкурку?

— Думаешь, я тебя покупать буду? — сказал Дато. — Я тебе кишки мотать буду, яйца резать буду, ты кушать их будешь... Двадцать тонн.

— Скоки-скоки? — прыснул Лёвка. — А мы-то танк размахнулись купить...

— Базар будет, если... — начал Дато, но тут сам, не дожидаясь приглашения, подал голос его сосед по ковру.

— Да что вы от мальчишки хотите? Он здесь по найму. За слово не отвечает. Давайте поговорим, как солидные люди.

— Представьтесь, солидный, — сказал Николай Степанович.

— Вениамин Сергеевич Птичкин, президент банка «Пантикапей-кредит»...

— Он же Гвоздь, — уточнил Тигран.

— Ну, это понятно, — сказал Николай Степанович. — Все банкиры — истинные разбойники. Хотя... Итак, господин Птичкин Гвоздь, сколько бы мы могли взять, взломав сейфы вашего банка?

— Ну, я не могу назвать точную цифру...

— Унести на себе можно — или надо с машиной подъезжать?

— Лучше, конечно, с машиной.

— С катафалком, — уточнил Дато.

— Будем считать, что мы *забили стрелку*, — сказал Николай Степанович. Весёлый этот разговор ему надоел. Тем более накатывало что-то, он спиной это чувствовал... — Где у нас третий?

— Да вот же он.

Третий вставал из угла, бесформенно-белый, как раздёрганный ком ваты: седой, бородатый и страшно испуганный.

— Ба... тяня? Батяня, ты? Н-николай С-степпа... Товарищ командир...

Лёвкины глаза, и без того навывкате, решили окончательно покинуть родные глазницы. Он переводил взгляд с Барона на Николая Степановича, и Барон получался заметно старше...

— Илюха? — не сразу пришёл в себя Николай Степанович. — Агафонов? Боец Агафонов? Какого хера вы делаете здесь, в этом... — он сдержался.

— Да я... вот тут это... Дело у меня тут.

— А, так это, значит, твоё дело? Тесен мир... Что ж, Илюша, ты закон знаешь...

- Да, — слотнул старый цыган.
- Овцу, если ты помнишь, я тебе простил.
- Простил, батяня.
- Этого, уж извини, простить не могу...
- Понимаю, батяня...

Пронзительный вопль, в котором живой души не было, донёсся издалека.

— Тогда — пошли, — Николай Степанович снял с плеча автомат, кивнул на дверь.

- Прямо... сейчас? — цыган сгорбился.
- А чего тянуть?

— Да, чего тянуть... — согласился Барон. — Веди, батяня. А этим не верь, обманут. Всех всегда обманывают. Даже меня хотели обмануть.

— Да я и не верю, — сказал Николай Степанович.

Они вышли из столовой и свернули налево, в сторону от освещённой стоянки.

Вопль, теперь уже многоголосый и яростный, накатывался.

— Стой здесь, — велел Николай Степанович, поднимая руку. — И ни шагу.

Сам он вернулся к крыльцу, встал сбоку.

Разъярённые, как кошки, неслись к столовой четверо девиц. Не кошки, нет: тигрицы. Эринии. Демоны ада. Два пацана с автоматами не успевали за ними, а последним шёл Коминт с девочкой на руках.

Ком тел, грохоча, ворвался в помещение. Там — взорвалось...

— Вот — наша, — сказал Коминт. — Ещё почти нормальная. Бляди как там всё увидели...

— Я понимаю, — сказал Николай Степанович. — Давай девочку — и помоги им, если хочешь.

— Всех кончать?

— Да, наверное. Всех.

С министром внутренних дел Республики Крым Николай Степанович беседовал минут сорок, и они расстались, вполне довольные друг другом.

Лёвка и Тигран ждали внизу в трофейном «датсуне». Номера уже стояли новые.

— Командир, могу я задать нескромный вопрос? — спросил Лёвка. За этот день он приободрился и смотрел на всех несколько свысока.

— Извольте, пан депутат.

— Вы из уголовных или наоборот?

— А между ними есть какая-то разница?

— Ну, всё-таки...

— Вообще-то я из Александрийских гусар.

— Понятно, — кивнул Лёвка.

— Лев, вы меня очень обяжете, если не будете трепаться о встрече со мной хотя бы со своей высокой депутатской трибуны.

— Никола-ай Степанович!.. — обиженно протянул Лёвка.

— Давайте за моими — и на вокзал.

Вовик-пулемётчик жил в симпатичном белом двухэтажном доме на углу квартала. Во дворе, возле высохшего фонтана, на скамейке сидели и ждали Коминт и Ирочка. Ручка её была в новом гипсе, сложенная теперь уже правильно.

— Коминт, на два слова, — попросил Николай Степанович.

— Она меня не отпускает, — улыбнулся Коминт. — Только в сортир согласилась, и то под дверью скреблась.

— Ладно. Дело вот в чём... Короче, наш налёт дал очень мало. Всего одну дозу. Этот Гвоздь месяц назад вывез практически всё... Эх, был ведь у меня когда-то этого дерьма полный чемодан!

— Им-то оно зачем?

— Золото делать. Идиоты. А новое поступление, как сказал наш друг Илья, ожидается не раньше марта. Понимаешь?

— Ещё нет.

— Хорошо. Открытым текстом. Ты берёшь вот это, — Николай Степанович вложил в руку Коминта толстенький флакончик из-под йода. — Сразу же идёшь к Лидочке в больницу и потихоньку от врачей даёшь ей эту пилюлю. — Он встряхнул флакончик, внутри подпрыгнул маленький шарик. — Его нужно разжевать или раздавить пальцами. Не глотать целиком, понимаешь? Это важно. И всё.

— Постой. А как же твои?

— Разберусь. Разберусь, Коминт. Давай: девочка и мамаша. Это на тебе.

— Ты не прав, Степаныч.

— Я прав.

— А как ты тут будешь один? Если эти... друзья убиенных...

— Как учил нас товарищ Сталин? Переживать неприятности по мере их поступления.

— Это разве его слова?

— Не знаю, как слова, а выучка точно его. Да, вот, чуть не забыл... — Николай Степанович достал записную книжку, вырвал листок. — Шесть номеров. Идём ва-банк.

— Розыгрыш на следующей неделе?

— Сегодня пятница? Значит, на следующей.

Когда я был влюблён...

(Атлантика, 1930, апрель)

Известие о самоубийстве Маяковского настигло меня уже в Гавре. В ожидании посадки на «Кэт оф Чешир» я просматривал русские парижские газеты — и наткнулся на два сообщения кряду. Они имели непристойно-злорадный характер и с истиной совершенно не сопрягались. Предположений о причинах трагедии было два: самоубийство на почве сифилиса — и выбраковка чекистами отработанного материала. Я положил себе вечером в баре выпить за упокой его освободившейся души, а в Вашингтоне зайти в маленькую церквушку пресвятого Николая-чудотворца и заказать панихиду. Поскольку, вероятно, я был единственным, кто знал, что именно случилось с этим несчастным чудовищем...

Если, конечно, «красная магия» не навестила ещё пользоваться «Некрономиконом». Ведь выстрелил он себе всё-таки в сердце, а не в висок...

Каюта моя располагалась на палубе А по левому борту, ближе к носу и совсем недалеко от судового ресторана первого класса — так что даже негромкий оркестрик его в первые ночи мешал мне спать. А спать хотелось — как на фронте. Впрочем, грех роптать человеку, приплывшему в своё время к африканскому берегу в трюме французского парохода в компании с неграми, гусями и домашней скотиной. Было там нас, бродяг, не менее пяти сотен, и никаких привилегий и удобств безденежному поэту не полагалось, да и пресловутого «бремени белого человека» я на себе никак не ощутил: шлёпал, как все, засаленными картами по перевёрнутому ящику из-под жестянок с питательной мукой «Нестле» и даже немного выиграл благодаря приобретённому ещё в Царском Селе умению сохранять невозмутимую мину при самом скверном раскладе.

А сейчас — стены каюты были обиты шёлком в мелкий цветочек, на столе в бронзовом кольце закреплена была хрустальная ваза с цветами;

цветы вышколенные стюарды с пугающей неотвратимостью регулярно заменяли свежими, всех сортов мороженого мне так и не удалось перепробовать, и вообще судно это напоминало роскошный плавучий санаторий для больных особой, не всем доступной болезнью.

«Кэт оф Чешир» никогда не взял бы «Голубой ленты Атлантики». Он просто пренебрёг бы этой наградой. Куда торопиться, если жизнь так великолепна?

На корабле выходили две газеты, утренняя и вечерняя. Каждый пассажир имел возможность почти без хлопот издать собственную книжку, или журнал, или альманах. Театр за восемнадцать дней плавания дал одиннадцать премьер. В двух уютных кинозалах демонстрировались как новейшие, так и ставшие классикой фильмы. Оранжерея исправно снабжала нас овощами, зеленью и расхожими цветами наподобие гладиолусов. Запахи и звуки расположенной в трюмах на корме бойни не доносились до нас, зато от коптилен текли самые выразительные ароматы. Танцзал не прекращал работу ни на секунду. Игры и забавы были чрезмерны и неопишуты, а корабельный импрессарио неистощим на выдумку...

По глубокому моему убеждению, богатство само по себе является одной из форм шизофрении или же паранойи — в науке Фрейд и месье Шарко я не силен. Почти каждый из пассажиров нёс в себе заряд лёгкого (либо не очень) безумия.

Поначалу для компании мне показался подходящим один здоровенный швед по фамилии Хансен — он вёл себя всегда невозмутимо и только поглощал в огромном количестве горький тёмный «Гиннес», но и господин Хансен подвёл: из беседы с ним я вдруг понял, что милейший Арне искренне полагает, что пароход наш направляется отнюдь не из Гавра в Нью-Йорк, а, напротив, только что вышел из мексиканского порта Веракрус, чтобы достигнуть порта Бремерхафен в Германии...

В двадцать лет, в Париже, я многое бы отдал за возможность менять орхидею в петлице каждый день. Молодые французские поэты, с которыми я в то время водил знакомство, полагали особым шиком сочетать рваные штаны со свежей орхидеей. Теперь это не вызывало ничего, кроме лёгкой доуки.

Что лишний раз доказывает иллюзорность и искусственность почти всех наших устремлений...

В ресторан полагалось являться пять раз на дню, а с поздним ужином — и шесть. Но поздним ужином пользовались лишь засидевшиеся

за картами, причём колоды постоянно обновлялись, как в лучших казино. Для американцев, по привычке, сохранившейся со времён сухого закона, напивающихся впрок, был предусмотрен особый бар с усыпальницей. Если прибавить, что каждый день пароход был поначалу настигаем, а потом встречаем гидропланом, который привозил пресловутые орхидеи, свежие устрицы, полевую землянику и прочие прихотливые фрукты, голландские сливки и лондонские, парижские и берлинские газеты, то цена билета вроде бы и не казалась чрезмерной. А когда-то за эти деньги я мог трижды пересечь Африку от Алжира до мыса Доброй Надежды...

Соответствующим было и общество. Князья и графья, как выражался мой язвительный фронтовой товарищ Трохин... Блистательно и невыносимо скучно. Рамолическую ажитацию вносило лишь присутствие на борту знаменитой германской актрисы Марлен Дитрих, которая в сопровождении своего режиссёра, не менее знаменитого Йозефа фон Штернберга, шла походом на Голливуд. Развевались штандарты, били барабаны, Грета Гарбо билась в истерике, Фербенкс и Чаплин готовились к новым упоительным победам... Баронессы и виконтессы однажды умолили её что-нибудь исполнить, и она с вызывающей вульгарностью (больше не попросят!) исполнила грубую солдатскую песню, которая потом доставала нас в полесских болотах. Я тут же начал, как сказал Козьма Прутков, «по-военному подпускать к ней амура». Такое, разумеется, строжайше запрещалось условиями моего испытания, но... Но. Покажите мне того человека, который смог бы удержаться. Покажите мне того поэта, если его фамилия не Кузмин...

Первоначальный замысел мой был назваться практикующим оккультистом из братства «Голубая устрица», единственным уцелевшим после устроенной большевиками резни. Но в первый же вечер в ресторане я буквально лицом к лицу столкнулся с Петром Демьяновичем Успенским... Слава богу, он меня не узнал: на его лекциях я сидел обычно в задних рядах, провоцирующих либо профанических реплик не подавал, да и изменился я с тех пор изрядно: отпустил волосы, усы, шкиперскую бородку. Только глаза по-прежнему косили: один смотрел на собеседника, другой на женщин. С этим я ничего сделать не мог, и учителя мои тоже не могли. Только мэтр Рене ворчал что-то насчёт необходимости постоянно укрощать змея кундалини, но от него я кое-как отбилась впопых припомненной цитатой из сочинений Ивана Баркова.

Разумеется, пуститься в странствие на таком роскошном корабле за свой счёт Пётр Демьянович не мог — его пригласили какие-то состоя-

тельные заокеанские теософы, не иначе. А коли так, то не в трюме же ему было ехать!

Но как же мне повезло, что я не успел ничего ляпнуть про оккультизм: иначе дамы скрутили бы нас и, усадив за один столик, потребовали бы немедленного раскрытия тайн и срывания покровов. *Isida Denudata* и тому подобное. А теперь — отдуваться пришлось одному профессору, я же сказался этнографом, знатоком и переводчиком амхарских песен и баллад. Баллады меня исполнять никто не просил. Это вам не «Лили Марлен»...

Профессор объяснял дамам и проигравшимся в пух кавалерам, что все люди, в сущности, спят, а лишь некоторые, очень немногие, способны изредка просыпаться, и уж совсем единицы — бодрствуют постоянно. Из этого я заключил, как говорят американцы, со стопроцентной гарантией, что профессор — не из наших, а лишь спекулятор и визионер, правда, высочайшего класса. К Пятому Риму он не имел ни малейшего отношения. Классический образчик «автогена». А следовательно, не мог быть и моим контролёром. Хотя... ведь поверх одной маски вполне может быть надета другая, третья — и так до семи включительно.

В ресторане я делил столик с богатым скотопромышленником из Чикаго и забавной четой французских аристократов, которых покорила глубоким знанием поэзии Леконта де Лиля и Жозе-Марии Эредиа. Тема для бесед нам была обеспечена на все шестнадцать дней пути. Скотопромышленник мистер Атсон время от времени оживлял разговор новостями о гангстерских войнах в его родном городе. Увлекаясь, он начинал изображать схватки и перестрелки в лицах, прятался за салатницей, устраивал засады в баночке с горчицей, в качестве автомобиля Клопа Мэллоуна использовал подставку для салфеток и мастерски подражал звукам автоматической стрельбы, описывая бойню в день святого Валентина... Французам с их старомодными апашами крыть было нечем. А мне было чем, но не хотелось портить аппетит ни в чём не повинным людям. Мадам была старше месье лет на сорок. Разницу эту мадам возмещала изрядным состоянием, а месье — титулом виконта дю Трамбле.

На третий день мы с Марлен были уже на ты. Ещё одна ночь, и эта женщина будет моей... Бр-р, ну и фраза... Прямо хоть вставляй её в уста злодея из романов Чарской. Фон Штернбергу я внушил невинным, на взгляд профана, триолетом неодолимую жажду, и он, говоря по-лесковски, устроил себе чертогон. С ним таскались по всему пароходу два журналиста, немец и американец, приставленные своими редакциями

к знаменитой парочке на случай очередного пряного скандала. Я же — *играл*... Стихи мне читать можно было только чужие, с немецкой поэзией у меня отношения не те, что у Блока, а — сложные; но чего только не сделаешь по вдохновению...

В промежутках между приёмами пищи и амурами (кухня, к счастью, была не английская, амуры же являются непременным атрибутом трансатлантических лайнеров) я читал запрещённый к ознакомлению доклад Якова Сауловича Агранова на чрезвычайной коллегии официально упразднённого Рабкрин. Уйдя в тень, Рабкрин стал главным исполнительным органом советского тайновластия. Кто входил в его состав, знали только Сталин, Микоян, сами члены инспекции — и мы, Пятый Рим. Был у нас там свой человек...

Память у него была абсолютная, и все красоты бюрократического слога он передавал с необыкновенной выразительностью. Особенно пикантно это читалось в обратном переводе с санскрита. Доклад был исключительно красив: пергамент, рисунки пером (отношения к содержанию не имеющие), кожаный чёрный переплёт; на вид — лет триста книге... Даже если она попадёт к специалисту-индологу, он будет её истолковывать в понятиях своего ремесла и не заподозрит, что речь идёт о событиях российских и недавних. Сочтёт, что это наставление какого-нибудь Чандрагупты сыновьям...

Товарищ Агранов довёл до сведения собравшихся, что само понятие магии не противоречит ни атеизму, ни историческому материализму, ни, тем более, материализму диалектическому. (Я давно заметил, что не существует в природе явления, способного сколько-нибудь успешно противоречить диалектическому материализму. Или, может, явления просто-напросто не хотят с ним связываться?)

Так вот, продолжал товарищ Агранов, наряду с известными силами, военными и политическими, окружающими железным кольцом перманентной агрессии первое в мире государство рабочих и крестьян, а также демонами внутренними, стремящимися нанести советской власти предательский удар сзади в сердце, — существуют силы незримые, но не менее опасные. Совсем недавно, сказал Яков Саулович, органы разоблачили группу так называемых тамплиеров, ошибочно либо с целью маскировки мнящих себя наследниками Сионского ордена. Не будем забывать, товарищи, что тамплиеры являлись союзниками псов-рыцарей Ливонского и Тевтонского орденов, исконных врагов и поработителей рабочих и крестьян. Эти выродки исхитрились добыть образцы волос,

ногтей и спермы одного из вождей пролетариата. Органам ОГПУ в последний момент удалось осуществить подмену материала, и кровавый замысел извергов рода человеческого с позором провалился. Эти изверги, товарищи, сделали восковую куклу вождя и проводили над ней инволюцию, а если попросту — пытали её вязальными спицами. Сотрудник добровolec, сдавший свой материал, скончался в страшных судорогах в битве за освобождение человечества.

В свете борьбы с религиозным мракобесием мы приняли решение не предавать дело огласке и не проводить открытого судебного процесса. Только этого и ждут от нас наши противники, чтобы начать злобный вой в Лиге Наций насчёт колдунов-комиссаров. В то же время за кордоном существуют многочисленные оккультные и эзотерические центры, контролируемые крупным финансово-промышленным капиталом и белоэмиграцией. Они насылают на молодую Советскую республику болезни, катастрофы, неурожай и наводнения. Без видимой причины падают с неба наши самолёты, меняется в худшую сторону сортность чугуна и стали. Мы чувствуем нарастающую активность вражеского воздействия. И мы обязаны противопоставить чёрной и белой, а проще, товарищи, белогвардейской магии — нашу красную магию! И органами с первого дня их существования ведётся беспощадная борьба с астральной интервенцией, которая стократ опаснее интервенции военной...

В первую голову следует, конечно, обеспечить личную неприкосновенность руководителей нашей партии. Кое-кто, сохранивший в сознании пережитки военного коммунизма, говорит в запальчивости о привилегиях и отрыве от масс, но мы-то знаем, товарищи, что враг затаился везде: в непроверенном куске хлеба, в простом пассажирском вагоне, во всех местах общественного пользования. Да-да, товарищи, обычная похабная писанина на стенах сортиров может оказаться далеко не безобидной! Только по этой причине мы вынуждены выделять нашим вождям для проживания охраняемые помещения, находящиеся в обособлении от других строений. Проверенные органами дворники несут службу круглые сутки, вылавливая бродячих кошек — а это, уверяю вас, вовсе не те, за кого они себя выдают. Кроме того, в обязанности дворников входит постоянная зачистка территории от снега и прочих осадков: ведь если враг вынет след вождя и сделает на его основе гипсовую отливку, последствия будут неисчислимы. (Голос из зала: «А если ковры стелить?» — «Это очень интересная мысль, товарищ...») Кро-

ме того, проводятся профилактические мероприятия, нацеленные на затруднение деятельности врагов, как то: переименование населённых пунктов, в именах которых содержится прямой или опосредованный эзотерический смысл. Вовсе не тщеславием и не личной нескромностью большевиков объясняется всё это. («А Москву почему?...» — голос из зала. — «Москва, товарищи, это наш главный резерв. Её переименовывать будем только в крайнем случае».) Запланирован и ряд других мероприятий: размещение повсюду защитительных символов: пентаграмм, оживальных крестов: я имею в виду серп и молот, и не смейтесь, товарищи, попы тоже кое-что понимали в охранительных символах, иначе кровавый режим Романовых не продержался бы триста лет, — а также полиграмматонов узкого и ненаправленного действия. (Голос из зала: «Ты простыми словами давай, товарищ Агранов!»)

О полиграмматопах у нас будет долгий и подробный разговор, и товарищ Неронов вам всё надлежащим образом объяснит. Я продолжаю общий обзор...

Тем временем наш с Марлен роман происходил взрывообразно. Мне совершенно не с руки было рисковать своей репутацией лучшего курьера Ордена, но, с другой стороны глядя, отказаться от такой женщины... Впрочем, я уже повторяюсь. Теперь оба моих глаза согласно смотрели только на один предмет...

Сравнительно недавно отметили чёрную дату: двадцатилетие гибели «Титаника», причём в этих же водах. Мужчины нервно и всегда неудачно шутили, женщины, как существа более практичные, интересовались состоянием шлюпок и спасательных поясов. Из детей здесь был только один американский мальчик — зато уж такой противный, что ему и утонуть не помешало бы. Он мнил себя вождём краснокожих, но воины моего детства наверняка утопили бы этого «вождя» в поповском пруду. Первый помощник старался рассеять атмосферу тревоги, распевая приятным голосом арии из итальянских опер. Тут же все вспомнили знаменитый оркестр «Титаника»...

Между тем фон Штернберг с проницательностью, присущей людям искусства, почувствовал что-то неладное и стал чаще обычного (и всегда втроём) навещать своего «голубого ангела». Прав был Шульгин, обличая евреев: нет ничего противнее хохла-радикала и пьяного немца... Марлен это смущало, да и женская половина населения парохода, страдающая от сплина, отвлеклась от готовности шлюпок и фасонов

шляпок, чтобы заняться нами. Камеристка Марлен, постоянно теряющая вставные зубы, отвечала им на все вопросы невразумительным шипением.

Я отловил гадкого мальчишку на верхней палубе, где он пытался тупым перочинным ножом вскрыть сигнальный ящик.

— Тебя как зовут, ковбой?

— А твоё-то какое дело? — сказал он, не поднимая конопатой физиономии, и продолжал ковыряться в замке.

— А такое, что посмотри-ка вон туда. Видишь айсберг?

— Где?

— Вон там. Может быть, это тот же самый...

— Да ну... скажешь...

— А может, и не тот. Может, другой.

— Айсберг... — сказал мальчишка тихо и пошёл к трапу, повторяя: — Айсберг... Айсберг...

Теперь его хватит надолго.

Через полчаса пассажиры стали скапливаться у правого борта. Айсберг видели уже все, и даже капитан в свой бинокль тоже видел айсберг. Смотреть приходилось против садящегося солнца, и в бликах можно было разглядеть решительно всё, вплоть до всплывшей раньше положенного срока Атлантиды. Постояв немного со всеми, я тихонько вывел из толпы мою Марлен, не отрывающую взгляда от горизонта, и увлёк в каюту. Если мы утонем, любимая, то мы утонем вдвоём, как те, которых откопали в Помпее... Образ был, конечно, чудовищный, но почему-то ничего другого в голову не пришло...

Ночью во все каюты ломались господа репортёры — якобы в поисках своих «лейки» и «кодака». До моей каюты они не добрались, потому что мистер Атсон жил чуть ближе к трапу, а после беседы с ним ни желания, ни возможности продолжать поиски у них не было. Знаем мы этих скотопромышленников из Чикаго...

Фон Штернберг, говорят, плакал под дверью греческого принца, полагая, что Марлен стала очередной жертвой сиятельного повесы. На самом же деле сиятельный повеса страдал морской болезнью в столь острой форме, что его укачивало даже при взгляде на фонтан, и он в продолжение всего рейса не вставал со своего ложа скорби (а отнюдь не страсти). Тогда, во всяком случае, все так думали.

Завтрак в каюту мы догадались заказать только на второй день. Стюард получил неплохую мзду за скромность. А на четвёртый день меня

почему-то потянуло к товарищу Агранову Якову Сауловичу... Сказать самой Марлен Дитрих «Ступай, милая», словно горняшке, было как-то неловко, а я, в отличие от Осипа, так и не изучил «науку расставаний», но тут — начало качать...

И качало, должен вас уверить, хорошо. Марлен от морской болезни не страдала, равно как и я, но вот беда: луна была к нам немилостива... да и камеристке Марлен стало так плохо, так плохо... а хорошая камеристка для актрисы значит стократ больше, чем расторопный денщик для гвардейского офицера. Поэтому...

Я проводил Марлен и с рук на руки передал тёмно-зелёному фон Штернбергу. Виски и качка совместными усилиями сотворили чудо: он по-прусски твёрдо стоял на ногах, но во всех мужчинах видел греческого принца, бедняжку. Меня он именовал «ваше высочество», а я не стал его поправлять.

6

Нехорошо, госпожа, рассказывать о злодеяниях, мною виденных и слышанных, потому что один рассказ о них может принести вред.

«Шукасаптати»

— Вот так, Илья, — сказал Николай Степанович. — А теперь рассказывай.

— Что рассказывать? — спросил Илья.

— Всё.

И — хлынуло из него... В сумбурной, местами русской, местами цыганской, местами испанской речи события осени сороквторого мешались с зарёй перестройки, а ужас воспоминаний о том, как ягд-команды гнали отряд на эсэсманов, а эсэсманы — на егерей, мерк перед ужасом недавним, когда заявили к нему, барону крымских цыган, какие-то неправильные — с виду цыгане, но речи не знавшие и вытворявшие такое, что он, в свои шестьдесят пять ещё чёрный, как головешка, поседел за неделю... не спрашивай, батяня, лучше не спрашивай, всё равно не смогу рассказать, потому как и слов таких нет и грех, смертный грех об этом даже рассказывать...

— Илья, — сказал Николай Степанович. — Помнишь обер-лейтенанта Швеллера? У него ведь тоже слов не было, поскольку русского не знал. А как рассказал-то всё!

— Батяня... Боюсь я. Вот те крест: боюсь до смерти. Хуже смерти. Вот сейчас мы с тобой говорим, а они слушают... Под полом сидят.

Николай Степанович посмотрел на Гусара. Гусар отрицательно покачал головой.

— Нету никого поблизости, Илья.

— А не надо и поблизости. Вот тебя они за сколько тысяч километров услышали?

— Так ведь я сам сюда попал. Они это и засекли. Это-то и дурак засечь может.

— Ой, не знаю я, командир... тебе, может, и видней, а только не понимаешь ты, с кем связался...

— Это они не понимают, с кем связались, — сказал Николай Степанович, щурясь от папиросного дыма. — Помнишь, как Эдик Стрельцов после отсидки на поле вышел и кое-кому класс показал? Вот примерно так я себя сейчас чувствую.

— Показал, — согласился Илья. — Да недолго прожил...

Они сидели на веранде дачи одного старинного коктебельского приятеля (а точнее сказать — внука одного старинного коктебельского приятеля) Николая Степановича. Было очень тихо вокруг. Домики соседей стояли запертые. Два мощных кипариса росли по обеим сторонам крыльца. Пахло сыростью и прелой листвой. На Илью с перепугу накатил жор, он опустошал одну за другой банки с хозяйской тушенкой и запивал хозяйской «изабеллой». Николай же Степанович, напротив, испытывал отвращение ко всяческой пище. Он лишь пригубил вино и теперь жевал корочку, чтобы унять спазмы в желудке.

— Ну, ты меня до срока не отпевай, а давай по порядку: сколько их было?

— Сначала — четверо.

— А потом?

— Не сосчитать, командир. Они же лица меняют, вот как мы — штаны.

— Понятно. Стрелять не пробовал?

— Один мой попробовал...

— Ну, и?..

— Рука чернеть начала. Потом его же и задушила. Своя же рука.

— Это они тебе глаза отвели.

— Клянусь, батяня! Я, что ли, не знаю, как глаза отводят? Да я сам кому хочешь отведу! Настоящие они... Те самые...

— Настоящие кто?

Илья огляделся по сторонам, потом наклонился вперёд и прошептал:

— Барканы.

Николай Степанович откинулся, посмотрел на Илью с особым интересом.

— А ты откуда это слово знаешь?

— Цыгане много чего знают, командир. Знают, да не говорят. Потому, может, и носит нас с места на место...

— Чтоб не нашли?

— Не смейся, командир. Это ж не от головы, это от задницы идёт.

— Мне, брат, не до смеха. Идём дальше. Свою порчу они снимать умеют?

— Должно, умеют. Да как заставить?

— Заставить — дело моё. А найти их — ты мне поможешь.

— Командир... лучше кончи меня сам, и на том успокоимся. Лучше ксерион найди.

— Глухонемой сказал, что раньше марта не доставят. А кто доставляет и откуда — не знает он. Может, ты знаешь?

— До конца не знаю. Но доставляет его откуда-то с Урала человек с пятном вот здесь, — и Илья показал на лоб.

— Горбачев Михаил Сергеевич? — усмехнулся Гумилёв.

— Опять смеёшься, командир... Имя его не знаю, а зовут — Серёга-Каин. И будто бы, брешут, он тот самый Каин и есть...

— Брешут, — сказал Николай Степанович. — Тот помер давно. Ламех его замочил. Так что — не тот.

— Тебе виднее, командир, — неуверенно сказал Илья. — Может, и не тот...

— В лицо ты его знаешь?

— Да.

— Значит, найдём... Теперь дальше: что это было за паскудство с детишками?

— Ох, командир, командир... теперь на всех цыганах грязь через это... Они это делали, они, понимаешь? Не цыгане. А зачем и для чего, я не знаю. Не побираться, нет. Денег у них и без того... не приснится нам столько даже к большой войне...

— Куда они детей потом девали? Кто увозил, знаешь?

— Морем увозили, а кто и куда — только старая ведьма знала. Вот её и пытай.

— Оно бы можно было, да сильно мой друг осерчал, когда внутрь вошёл и всё там увидел.

— Постой, командир. Он что, её видел?

— Видел.

— И... что?

— Кончил он её. Да так, что и допросить уже нельзя было. Нечего было допрашивать. Мозги по стенам.

— Он её кончил — и живой остался?! Значит, можно их?..

— Можно, Илья. Если не бояться — всё можно. Илья, вспомни, как ты карателей боялся, а потом они от тебя бегали, от сопляка?

— Тогда, командир... — Илья встал, распрямился. — Боец Агафонов поступил в ваше распоряжение!

— Вольно, боец. Продолжайте песни петь и веселиться...

— А я ведь тебя искал, командир, — сказал Илья, вскрывая очередную банку. — И как из Аргентины вернулся, и потом, когда эти... Была у меня на тебя надежда. И все цыгане тебя искали для меня.

— Это трудно сделать, пока я сам не позволю, — сказал Николай Степанович. — Или не вяпаюсь по неосторожности...

— Я ещё там, в болотах, понял, что не простой ты человек, — сказал Илья с гордостью. — Ещё до того, как ты открылся.

— Не свисти, боец. Если кто чего и понимал, так это наш Филя. А чего ты из Аргентины-то вернулся? К берёзкам потянуло?

— Не согласен оказался я с кровавым режимом Перона, — важно сказал Илья и вдруг захохотал.

— Понятно. Жеребца у кого-то увёл.

— Не, командир. Выше бери.

— Ну, тогда бабу у Перона. Эву — или как её там?..

— Не, командир. Ещё выше.

— Эйхмана для евреев выкрал?

Илья обомлел. Пустая банка выскользнула из руки и покатилась по столу и шмякнулась на пол.

— Ну ты колдун, командир... — сказал он севшим голосом.

— Так ты теперь должен быть почётным гражданином Израиля?

— Ну так... да. Почётный. Сказали, даже обрезания можно не делать.

— А там тебе чего не зажилось?

— Ну... жарко там. Да и тесно.

— Не развернёшься? — посочувствовал Николай Степанович.

— Вроде того... Да и война там всё время... И по субботам — ни пить, ни есть... Хотя и не в том дело. А не знаю сам, командир. Плюнул на всё, дом продал и сюда приехал. Зачем, почему... Может, знал, что тебя увижу. Может, ещё что.

— Как там наши полешуки, в Аргентине-то?

— А как была вёска, так вёска и осталась. Живут. Гражданство купили за твоё золотишко, налоги платят, и дела никому до них нет.

— Поезда под откос не пускают?

— Да нет там откосов... По праздникам, бывает, с немецкой деревянной стенкой на стенку бьются. За командира, мол, — получите!.. Ты им напиши непременно, что жив. А то забьют немцев, изведут ни за что...

Промедление смерти (Мадагаскар, 1922, октябрь)

Почему эту башню называли башней Беньовского, так и осталось загадкой, поскольку, судя по выщербленности белого камня её стен, стояла она здесь ещё в те времена, когда предки известного русского пирата только ещё пришли в степи Паннонии.

Удивительный он был человек, этот граф Мориц-Август: будучи венгром, ввязался в восстание польских конфедератов, был бит, сначала в бою, а потом кнутом, сослан на Камчатку, где взбунтовал ссыльных, угнал бриг «Пётр и Павел», основал русское поселение на Мадагаскаре и совсем было собрался учредить там коммунизм (промышляя на морских торговых путях), но тут пуля французского морского пехотинца поставила точку в его военно-политической карьере. Скорее всего, мальгашки настолько боготворили сакалава Беньовского, что возведение древней башни приписали именно ему — а кому же ещё?

Нет, много, много раньше была возведена Белая Башня, одна из четырёх сущих в мире. Строили её, не прикладывая рук человеческих, да и Мадагаскар не был островом в те недоступные ни памяти, ни воображению годы.

Среди мальчишек-учеников я чувствовал себя Ломоносовым в Греко-латинской академии — и, возможно, за спиной моей так же шептались: «Гляди-ко, кака дубина стоеросовая учиться грамоте собралась!..»

И, как Ломоносов, я весь с головой ушёл в занятия, чтобы не слышать этих шепотков.

Всю прежнюю жизнь учение мне давалось легко, а потому учился я скверно, упустив столько возможностей, что и перечислить нельзя. Мне, видевшему себя вторым Стенли или первым Бартоном, не удавалось набросать простейшие кроки, и то же самое было с языками: я мог читать на трёх, но понимали меня только на родном. Привычки к последовательным, обязательным и кропотливым штудиям не было, поэтому в первые месяцы здесь мне приходилось тратить большую часть сил именно на преодоление природы. Здесь некому было сказать, заступаясь за нерадивого гимназиста: «Господа, но ведь мальчик пишет стихи!..»

Здесь все писали стихи. И одновременно — никто.

Потому что не стихи нас учили писать, а находить в стихотворческом иступлении истинное Слово, запоминать его и никогда не применять.

Каково было мне, синдиксу Цеха поэтов, осознавать, что моё умение и знание стиха — сродни папуасскому понятию об устройстве аэроплана...

Единственное, что меня примиряло с реальностью, — так это то, что и Ося, и Есенин, и покойный Блок, не говоря уже об Аннушке, чувствовали бы себя здесь столь же неуверенно и неудобно. Аннушке трудностей добавило бы ещё и то, что одевались мы в холстину, спали на циновках и ходили босиком, как абиссинские ашкеры. Но вовсе не от бедности — по уставу.

Никогда я не писал так много и так странно. Что-то выходило, выползло, вытекало из меня, отливаясь в строки. Но что — не знаю, не помню, а восстановить не получается. Помню только, что писать нам позволялось лишь в огромных чёрных книгах, похожих на амбарные, причём на каждой странице изображены были запирающие знаки. Специальный служитель выдавал нам эти книги и забирал в конце дня.

И всё равно землетрясения на Мадагаскаре случались удивительно часто...

Помню, как в шестнадцатом году в госпитале встретил я родственную бродяжью душу — ротмистра Юру Радишевского. Вот закончим войну, мечтали мы, спасём цивилизацию от тевтона, проедем на белых конях по Берлину, залезем, в посрамление всем, на купол германского Рейхстага, водрузим там российский флаг — а потом, всюду чтимые победители, закатимся как раз сюда, на Мадагаскар, обойдём его весь года за два, станем вождями племён или великими географами...

В тот день я ушёл от всех в горы. Тонкий ручей звенел в зарослях, изредка являя солнцу сверкающую спину. Острые камешки уже не могли повредить моим ступням. Высокие цветущие кусты обрамляли тропу. Две бабочки, огромные и розовые, как ладони воина, покачивались на ветке. Птичий гомон то нарастал, то почему-то прекращался. Слева проступали в густой синеве вершины далёких вулканов, прямо — угадывался океан. Ленивец, висевший на лиане подобно перезревшему плоду, при виде человека не только не убрался с дороги, а ещё и, распушив хвост, мазнул меня по лицу. Он чувствовал себя здесь в своём праве — реликт пропавшей Лемурии. На пузе у него сидела беспечная бабочка. Маленькое стадо коз перебежало, смеясь, тропу. Это могли быть и дикие козы, и домашние. Мальгаши сами не всегда различают их...

В конце подъёма (сердце у меня не билось, и я не хватал ртом воздух, как делал бы ещё год назад) я увидел огромный панданус, дерево-рощу, непонятно как возросший здесь, на голых камнях. Его воздушные корни, подобно когтистым лапам, вцеплялись в глыбы старой лавы, протискивались в узкие трещины и щели, распластывались по-осьминожьки по камню, сиюсь захватить всё пространство. Птицы неистовствовали. Весенний месяц октябрь... как странно.

В Петрограде холод и слизь, большевики готовятся к октябрьским торжествам. Предвкушая раздачу праздничных пайков и демонстрацию трудящихся. Отсюда Петроград казался городом измышленным, никогда не существовавшим в действительности, а единственно в предсмертных видениях государя Петра Алексеевича...

Белые, комьями и горами, облака вставали из-за перевала.

Здесь часто бывало так, и я нигде и никогда больше не видел подобного: облака летели навстречу друг другу, сталкиваясь и пожирая друг друга, словно пытались разыграть передо мною сцену из древнего мифа, сложенного народом, давно покинувшим лицо земли...

А я понимал себя первым и пока единственным человеком на свете, пришедшим на смену тому неведомому племени. Много странных существ мне предстоит найти — и каждой нужно будет дать имя. Беда, если сущность не уложится в это имя... Беда поэту и магу, сбившемуся с Пути...

Налетел ветер, толкнул в грудь. Ветви пандануса вдруг шевельнулись — и тугая волна прошла по ним от края до края необъятной кроны, будто змей или дракон, проснувшись, потянулся и вновь свернулся

в кольцо. На миг сверкнул между листьев кровавый глаз — и тут же померк, убедившись в отсутствии перемен.

К тонким внешним стволам пандануса мальгаши привязывали из года в год разноцветные ленточки, лоскутки и нитки бус, каменных и стеклянных — на счастье. За счастьем же и пришли сюда старик и девочка...

Старику было за сто, девочке — года четыре. На них были белые одежды. В костяной, табачного цвета руке старик держал отполированный временем чёрный посох. Через плечо девочки перекинута была тряпичная торба, набитая чем-то объёмным, но лёгким.

— Здравствуйте, люди, — сказал я по-мальгашки.

Старик молча поклонился, а девочка посмотрела на меня такими чёрными и такими огромными глазами, каких у людей не бывает. Старик шепнул ей на ухо, она подбежала ко мне и вложила в ладонь что-то тёплое и твёрдое. Я посмотрел: это был золотой православный крестик с закруглёнными лопастями и русской надписью «Спаси и Сохрани».

— Красавица, — растерялся я. — Да мне и отдарить тебя нечем...

Девочка улыбнулась и развела руками. Я посмотрел на старика. Тот медленно кивнул и сделал странный жест, значение которого мне предстояло понять много позже...

7

Арлекин не человеческая особа, но бестия преображённая.

«Рождение Арлекиново»

Утром выпал снег, и Москва была чёрно-белой. Мороз щипал лица.

Сегодня вышли без Коминта. Он остался на связи. Берлога Каина располагалась где-то в пределах Садового, и это было всё, что Илья знал. Но Гусар дал понять, что эта задача ему по зубам...

Вчера бесплодно шатались по Пятницкой. Сегодня решили начать с Тверской.

Гусар, остановившись у собачьего киоска на Маяковского, потребовал купить ему поводок. Николай Степанович поводок купил, нацепил на пса. Гусар взял конец поводка в зубы и вручил его Илье.

— Ага, — догадался Николай Степанович, — он тебя в пару берёт. Ну да, ты же этого Каина по личности помнишь...

Илья, подстриженный коротко и с непривычно босой физиономией, походил сейчас не на цыганского барона, а на популярного актёра, которого все знают в лицо, да вот только фильмов, где он играл, и фамилии его припомнить не могут. Николай Степанович предложил купить ему тёмные очки, но Илья с каким-то остервенением от обновы отказался. В очках пусть барканы ходят...

Илья с Гусаром повлекли Николая Степановича по Тверской в сторону Кремля. На тротуарах было тесно. Николай Степанович сделал попытку остановиться у книжного развала, чтобы купить книжку с собственным портретом на обложке, но его дёрнули за рукав и потянули.

— Больно умный... — проворчал кто-то, скорее всего Гусар, поскольку Илья на такое нарушение субординации не осмелился бы.

Около гостиницы «Минск» им зачем-то попытался загородить дорогу джигит в адидасовском костюме, но Илья и Гусар хором взглянули на него и даже, кажется, зарычали — и джигит куда-то делся. Скорость его исчезновения была фантастическая.

В подземном переходе женщина в красной шляпке вдруг бросилась к ним с криком:

— Мужчина, какая у вас порода?!

— Цыган я, — честно ответил Илья.

— Ой, да не вы! На чёрта мне вы? Собачка какой породы?

— Цыганский терьер, — подсказал подоспевший Николай Степанович.

— Не морочьте мне мозги! — сказала женщина. — Я же вижу, что это тибетский мастиф. Их в России вообще нет! Их и на Тибете почти нет, и даже в Англии...

Гусар неожиданно обрадовался, заплясал и лизнул даме руку.

— А откуда, по-вашему, берутся все цыганские терьеры? — сказал Николай Степанович. — Равно как и цыганские лошади...

Развить тему Гусар не позволил. Он устремился вперёд, привязанный Илья за ним, и Николай Степанович, махнув даме ручкой, вынужден был так хорошо начавшийся разговор прервать.

Около здания «Известий», окружённого сплошным забором из рекламных щитов самого устрашающего вида, Гусар вдруг сел и стал прислушиваться, медленно вертя башкой.

— Думай про него, Илья, думай, — тихо сказал Николай Степанович.

Илья и без того думал. По лицу его, дымясь, катился пот. Через минуту Гусар встал и неторопливо пошёл налево, в сторону Страстного. Они миновали кинотеатр «Россия», прошли вдоль казённого вида фасадов, обшарпанных и обновлённых, пересекли Цветной и вскоре свернули в неприметную, полузабранную чугунной решёткой подворотню. В глубине двора стоял двухэтажный флигель с заколоченными окнами и дверьми. Гусар обвёл их вокруг — и там, рядом с мусорными баками, обнаружился вход, охраняемый спящим часовым в кожаной косухе.

— Вот и хорошо, — сказал Николай Степанович, глядя в упор на часового. — Сейчас я его сон на всех остальных и распространю...

Он сделал несколько движений, будто ловил в воздухе воображаемых мух, а потом — выпустил их в сторону двери.

— Подождём минуты две.

Гусар сел на задницу и наклонил голову. Потом встал, заозирался, нагнулся к самой земле, что-то нюхая. Вид у него был слегка ошалелый.

— Что ты там нашёл?

Но Гусар был занят своими мыслями и не ответил.

Николай Степанович снял с плеча сумку, вынул из неё два автомата...

Если обитатели подвала и спали, то сон у них был скверный. Снилось им, что ввалились в подвал непрощенные Николай Степанович и Гусар с Илейей и принялись всё крушить и ломать, обижать спящих и низводить их, и надо было вставать и давать отпор, сокрушительный и беспощадный... Плох нож, топор и даже пистолет против двух автоматов, плюющих в упор, но — долг свят, и надо повиноваться ему до тех пор, пока в глазах есть хоть искорка света...

Было их там ребят десять, молодых, синюшных, уже давно не от мира сего, а от мира тёмного, изнаночного. Когда они встали, как бы притянутые к потолку невидимыми нитями, и бросились на вошедших — молча и страшно, Николай Степанович попытался остановить их словом, но — то ли не успел, то ли место здесь было действительно плохое. Никто не подчинился, и даже выстрелы Ильи в потолок не возымели действия. Гусар коротко взвыл, и сплошной ужас был в этом вое...

Пришлось просто стрелять в упор. Когда несколько пуль попадают даже в зомби, те останавливаются и падают. Здесь же были ещё и не зомби, а так — заготовки...

— Не всех! — кричал Николай Степанович непонятно кому — очень может быть, что и себе. — Не всех!..

Гусар уже повалил кого-то и прижимал к полу всем весом. Поваленный визжал тонким голосом, пытался вывернуть псу лапу.

— Где этот гад?..

Но уже и так было ясно, где этот гад. Он так торопился уйти, что не задвинул за собой цементную плиту как следует.

— Вяжи, Илья!

Илья в один приём повязал пленника, приторочил к толстой трубе, идущей от пола до потолка. Гусар первым спрыгнул в дыру, Николай Степанович за ним, с мощным фонарём в руке.

Потом обвалился Илья. Он тяжело дышал, и несло от него страхом, что Гусар немедленно учуял и толкнул цыгана под коленки: пошёл!

Здесь было сухо и пахло пылью. Коридор не походил ни на что коммунальное: здесь не тянулись трубы, не висели кабели. Стены были сложены из тёмного камня, поперечные балки потолка обросли густым белым налётом.

— Куда он пошёл?

И Гусар устремился направо.

Коридор шёл коленчато, всё время делая необоснованные повороты. Потом его пересёк другой, ещё более тёмный. И Гусар вдруг остановился, как будто налетел на невидимую стену.

— Что стряслось?

— Постой, командир, — глухо сказал Илья. — Кажется, вижу...

— Что ты видишь?

— Ух! Так и не сказать даже... Не вижу, а всё равно вижу: этот, пятнастый, тут сразу в три стороны пошёл.

Гусар проворчал одобрительную фразу.

Николай Степанович постоял немного, смиряясь с неизбежным.

— Ясно, ребята. Всё, не догнать нам его. Знаю я этот трюк. Простой и безотказный, как два пальца в глаза. Если, конечно, напрактиковался. Св-волочь... Пошли назад.

И они пошли назад, причём обратный путь показался им намного длиннее. Белый налёт на балках начал словно бы таять, падая вниз тягучими омерзительными каплями, от которых пёс умело уворачивался.

Сначала в дыру посадили Гусара, потом по его поводку забрались сами.

В подвале воняло порохом и гнилью. Странно, что под ногами не хлюпало. На стенах висели пожелтевшие постеры неведомых западных певцов и певиц. Среди постеров почему-то затесался портрет Эрнста

Теодора Амадея Гофмана; в портрете торчало несколько оперённых стрелок.

— Илья, — сказал Николай Степанович, — покарауль у выхода, только наружу не высывайся. Вдруг какая добрая душа нашлась, в участок позвонила...

— Они тут к разборкам привыкши, не залупаются, — сказал Илья, но к выходу послушно пошёл. Автомат он держал стволом кверху, как учат западные боевики, и Николай Степанович вспомнил, что на войне за цыганёнком такой привычки не водилось.

— И этого... стража... приволоки, если не убежал.

— Не убежал, — издали отозвался Илья. — И не убежит уже...

Николай Степанович присел над связанным пленником. Стащил с головы гнусную вязаную шапочку. Рассыпались волосы, мятые, сто лет не мытые...

— Девица, — вздохнул он.

Потянул изо рта всунутую Ильей варежку.

Голова свободно, как будто так и надо, отделилась от тела и глухо стукнулась об пол. Крови не было. Вместо крови посыпалась чёрная, похожая на старый порох, труха.

Это вдруг оказалось так страшно и так ярко, что Николай Степанович вскрикнул, как от удара током.

Золотая дверь (Царское Село, 1896, июль)

В мундире сидел дядюшка тогда за столом или нет? Конечно же, нет, нелепо в парадном адмиральском мундире сидеть летним вечером на веранде, но вот ясно же помню, что — в мундире. Просто самое лицо у дядюшки было такое, что вне мундира не мыслилось, и любому сухопутному штафирке при первом же взгляде становилось ясно, что перед ним адмирал российского флота Львов, а не коллежский регистратор.

Уже подали чай с варениями, Марфуша несла пирог, когда появился новый гость, о. Никодим, окормлявший наш приход. Заходил он иногда и по делам, а чаще просто так, поиграть в шахматы или картишки с отцом, поговорить о политике и мироустройстве, попить чайку...

После необходимых приветствий священника усадили за стол, подали поместительную гарднеровскую чашку, единственную уцелевшую

от огромного некогда сервиза, маменька собственноручно налила ему душистого чаю из особой жестянки с китайцами и фарфоровым павильоном.

Разговор был обо всём. Папенька и дядюшка в очередной раз попеняли о. Никодиму, что не пошёл он в судовые священники, — хоть бы мир поглядел, а о. Никодим отговаривался тем, что телом и в Москве не бывал, да и не надо, духом же Вселенную объедает. Впрочем, на будущий год отправится он в паломничество в Святую Землю, там всё разом и посмотрит, ибо где и быть средоточию мира, как не в Иерусалиме? Потом вдруг неожиданно спохватились, что вот батюшка за столом есть, а лафитничка нету, и вынесли лафитничек, и налили. Настойка привела на ум и покойного государя — ему тоже попеняли, что себя не берёт, рано помер, вот уж при нём даже императоры заграничные не могли считать себя государями. Заодно выпили и здоровье ныне здравствующего, и чтобы царствование его продолжилось счастливее, чем началось. После перешли к графу Толстому.

— Артиллеристы все вольнодумцы, — сказал дядюшка. — Был бы штурман или капитан — был бы человек. Взять, к примеру, Станюковича. И писал не хуже. Боцман Безмайленко, когда «Максимку» в кубрике вслух читали, слезами обливался. А всё почему? Потому что флот. Под Богом ходим.

— То-то в вашем «Морском сборнике» одни социалисты печатаются, — ввернул о. Никодим.

— Что касается графа, — заметил папенька, — то помнится мне одна хорошая эпитафия, перу покойного Некрасова, кажется, принадлежащая. По поводу романа «Анна Каренина»... — он покосился на меня, но прочёл-таки своим красивым медленным голосом:

Толстой, ты доказал с уменьем и талантом,
Что женщине не надобно «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.

О. Никодим простёр перст:

— Вот! А *per contra*, не станет Толстого — и переведутся сочинители на Руси... Придётся читать всяких Лейкиных да Чехонте.

И выпили за здоровье графа Толстого.

А потом вдруг незаметно перешли к разговору о грибах, о способах их выслеживания и собирания, и о том, что завтра с утра можно было бы и съездить поискать, да вот не соберётся ли дождь?

— Не будет дождя, — подал я голос впервые за вечер.

— Барометр, отроче, иное предвещает, — сказал о. Никодим. — Отчего же не будет?

— Не будет дождя, — повторил я упрямо. Очень хотелось вишнёвого варенья, но скрываемая мной дырка в зубе принуждала к воздержанию.

— Он у нас Наод Красноглазый, — выдал меня братец Дмитрий. — Предводитель папуасов. Вызывает духов и живым пескарям головы откусывает.

Я покраснел. Настоящий Наод, тот, что у Буссенара, живьём ел европейских глобтроттеров. Вот так Митя! Я же не кричу на всех углах, что сам-то он носит звание вождя зулусов Умслопогаса...

— Врёт он всё, — сказал я. — И не пескарь, а карась. Мы бы его и так, и так испекли.

— Николенька и вправду угадывает погоду, — вступилась маменька. — Вот прошлым летом не послушались мы его, поехали на ночь глядя в Поповку — прокляли всё. Такой дождь был, такой дождь...

— Барометр — железо, — веско сказал дядюшка. — Боцман с хорошим прострелом лучше любого барометра. Вот, рассказывал капитан Гедройц, как в бытность его старшим офицером на клипере «Лебедь» стояли они на Суматре, отдыхали и провиант брали для Камчатки. И был у них юнга-татарчонок. И вот вдруг этот юнга буквально бесится, ко всем бросается и кричит: уходить надо, уходить! Куда уходить, зачем — да и какое его татарское дело? А он одно: уходить надо, погибнем! Что делать? Доктор его пользует — без толку. Ну, посадили в канатный ящик. Так он оттуда выбрался, фонарь схватил — и в крюйт-камеру сумел забраться! Это где порох, — пояснил он маменьке. — И оттуда орёт: отдавайте якоря, а то взорву всех к своему татарскому богу! И — делать нечего — загрузку прекратили, якоря отдали, в море вышли. Думают — не двужильный же он, сморится когда-нибудь. И тут — ка-ак заревёт! Ка-ак даст-даст в небо! Огонь, дым, пепел! И — волна пошла... Все корабли, что в бухте остались, забросило на горы, в леса, в щепы разметало. И только «Лебедь» один — уцелел. Кракатау взорвался, вулкан.

— А что же с юнгой стало? — спросил о. Никодим.

— Ну, как что? За баловство с огнём линьками погладили, а за спасение судна... Ну, там много чего было. Сейчас он на «Владимире» боцманом ходит. Говорят, контора Ллойда его к себе переманивала, большие фунты сулила — не пошёл, татарин упрямый.

Разговор перешёл на славные подвиги: сперва флотские, потом общевойсковые, а потом и гражданские.

Сначала это было интересно, но с двенадцатого примера я начал почему-то злиться, и чем дальше, тем больше. Это было ещё хуже, чем зуб с дулом.

Медицинские студенты, позволявшие прививать себе всяческие гнусные болезни, казались мне не героями, а идиотами. Поручик Буцефалов, спасший из-под огня полковую печать, тоже как-то не вдохновлял. Множество однообразных подвигов отдавания своего имущества погорельцам и прочим каликам перехожим, казались мне непростительным мотовством. А когда речь зашла о моём сверстнике, который, рискуя жизнью, спас из проруби тонущего поросенка, я не выдержал и сказал, что и сам могу в любой момент совершить такое, что обо мне будут говорить все.

— Котёнку голову откусит! — обрадовался Дмитрий, но маменька дала ему подзатыльника. История с загрызенным карасем донимала её куда больше, чем меня. Карась и карась.

На следующий день я надел галоши, взял тяжёлые портновские ножницы и залез через забор на нашу электрическую станцию. Царское Село погрузилось в первородный мрак. Назавтра обо мне действительно говорили все.

Напряжение тогда было не в пример сегодняшнему — вольт пятьдесят...

8

— Вы болван, Штюбинг!
«Подвиг разведчика»

Как и четыре дня назад, сидели на кухне Коминта, теперь уже втроём. Только внуки уже не баловались томагавками — поскольку девочка Ирочка острых предметов боялась, — а пытались приучить Гусара к несобачьей команде «Ап!»

— Из-под милиции мы выскользнули чудом, — заканчивал Николай Степанович повествование. — Каина этого, конечно, след простыл...

— У тебя, Степаныч, всё чудом, — сказал Коминт.

Илья молча потрогал шишку на темени, причинённую милицейской на излёте пулей. Вдохнул.

— И что ты теперь делать намерен? — продолжал Коминт.

— Сколько успел, покопался я в его каморке, — сказал Николай Степанович. — Тайничок там был один очень хитрый. И вот что в тайничке том я нашёл...

Он вынул большой никелированный брелок с непонятной эмблемой; к брелоку прикован был медный плоский ключ.

— От сейфа, — сказал Илья. — Абонементского. Сколько у меня таких перебивало... Где всё?

— Абонентный сейф... — поправил Коминт. — Очень похоже.

— Эмблему эту знаешь? — спросил Николай Степанович.

— Никогда подобным не интересовался. Да и зачем мне, посуди? Томагавки хранить? Или фамильные брильянты?

— Скальпы... Узнать сможешь?

— Ну, не сегодня уже. Завтра.

— Завтра... Завтра, брат — это долго. Напрягись: кто-нибудь сейчас — сможет? Делец какой-нибудь или налоговый...

— Да кто у нас тут такое может знать — народ цирковой, безденежный. А впрочем, стой! Администратор наш, Иона Измаилович — человек опытный, ещё с Галей Брежневой хахалем корешился, два раза сидел...

— Так и я Иону знаю! — восхитился Илья. — Я у Бориса с ним как раз и встречался. Смешной мужик...

— Ну, тесен мир, — сказал Николай Степанович. — Пошли к твоему Ионе. Во чрево китово.

Иона жил в соседнем подъезде и двумя этажами ниже. Дверь его, обитая по новому русскому обычаю железом, лишена была всяких глазков, звонков и ручек. Коминт начал стучать — и стучал долго.

— Ему бы о душе задуматься... — сказал Коминт, но тут в двери образовалось окошечко размером с половину почтовой открытки.

— Оборону держишь, — сказал Коминт неодобрительно. — Сунут вот тебе ствол в твою амбразуру...

— А это перископ, — похвалился невидимый Иона. — Чего пришёл, люди все добрые спят?

— С кем это сегодня люди добрые спят? — поинтересовался Коминт. — С Галкой-каучук?